

Футурологический конгресс

(из воспоминаний Ийона Тихого)

Станислав Лем

Восьмой Всемирный футурологический конгресс открылся в Костарикане. По правде говоря, я не поехал бы в Нунас, если бы не профессор Тарантога: он дал мне понять, что там на меня рассчитывают. Еще он сказал (и это меня задело), что астронавтика стала, в сущности, бегством от земных передрыг. Всякий, кто сыт ими по горло, удирает в Галактику, надеясь, что самое худшее случится в его отсутствие. И в самом деле, возвращаясь из путешествий, особенно в прежние годы, я с тревогой выискивал в иллюминаторе Землю – не уподобилась ли она печеной картофелине. Поэтому я не очень-то сопротивлялся, а только заметил, что не разбираюсь в футурологии. И в насосах мало кто разбирается, возразил Тарантога, однако все мы кидаемся к помпам, услышав: «Течь в трюме!»

Правление Футурологического общества выбрало Костарикану потому, что темой конгресса был демографический взрыв и меры борьбы с ним, а Костарикане принадлежит мировой рекорд по темпам роста населения; предполагалось, что это удвоит эффективность нашей работы. Правда, злые языки называли иную причину: в Нунасе наполовину пустовал новый отель корпорации «Хилтон», между тем на конгресс, кроме самих футурологов, ожидалось столько же журналистов. Теперь, когда от отеля не осталось камня на камне, я, не боясь обвинений в рекламных захваливаниях, могу со спокойной совестью утверждать: «Хилтон» был превосходен. Моя оценка имеет особый вес: ведь по натуре я сибарит, и лишь чувство долга иногда заставляло меня предпочесть комфорту каторжный труд астронавта.

Над плоским пятиэтажным цоколем костариканского «Хилтона» возвышались еще сто шесть этажей. На крышах уступов здания размещались теннисные корты, бассейны, солярии, дорожки для картинга, карусели, служившие одновременно рулетками, тир (где можно было стрелять по манекенам, изображавшим кого угодно, на выбор, – спецзаказы выполнялись в течение суток), а также раковина открытой эстрады с установками для опрыскивания слушателей слезоточивым газом. Мне достался сотый этаж, откуда я мог созерцать лишь иссиня-коричневую изнанку смога, нависшего над столицей. Кое-что из гостиничного инвентаря меня озадачило – например, трехметровый железный прут в углу ванной комнаты, маскхалат в платяном

шкафу, мешок сухарей под кроватью. На яшмовой стене ванной, рядом с полотенцами, висел моток настоящей альпинистской веревки, а вставляя ключ в дверной английский замок, я заметил небольшую табличку:

«Дирекция гарантирует, что в этом номере БОМБ нет».

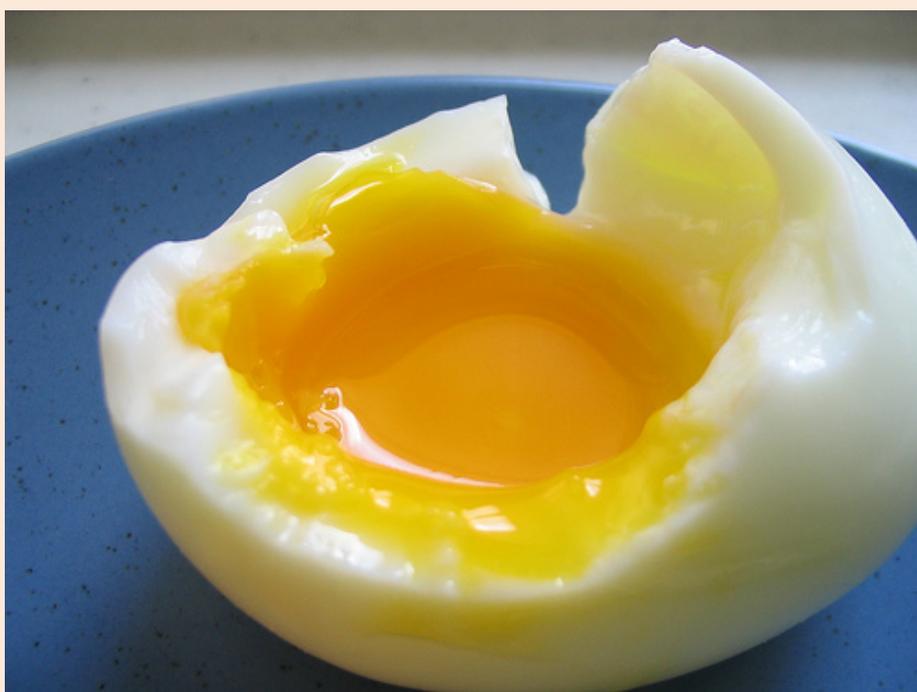


Теперь, как известно, ученые делятся на оседлых и кочующих. Первые по старинке что-то исследуют, вторые разъезжают по всевозможным конференциям и конгрессам. Кочующего ученого легко распознать: на груди у него карточка с фамилией и ученой степенью, в кармане – расписание авиарейсов; подтяжки у него без металлических пряжек, портфель – на пластмассовой защелке, а то, чего доброго, завоет сирена устройства, просвечивающего пассажиров в поисках кинжалов и кольтов. Научную литературу такой ученый читает по дороге в аэропорт, в залах ожидания и гостиничных барах. По понятным причинам я был не в курсе последних достижений земной культуры и спровоцировал сигналы тревоги в аэропортах Бангкока, Афин и самого Нунаса, а все потому, что во рту у меня шесть стальных коронок. В Нунасе я хотел заменить их фарфоровыми; увы, непредвиденные события этому помешали. А насчет сухарей, прута, веревки и маскхалата один из футурологов-американцев снисходительно разъяснил мне, что гостиничное дело в нашу эпоху требует неведомых ранее мер безопасности. Каждый такой предмет повышает выживаемость постояльца. На эти слова я по легкомыслию должного внимания не обратил.

Заседание было назначено на вторую половину дня, и уже утром мы получили полный комплект материалов конгресса – превосходно изданных и со множеством приложений. Особенно радовали глаз отрывные купоны из глянцевой плотной бумаги со штампом «Копуляционный талон». Научные конференции тоже пострадали от демографического взрыва; популяция футурологов растет столь же быстро, как и все человечество, так что конгрессы проходят в суете и спешке. О чтении докладов с трибуны и речи быть не может, знакомиться с ними нужно заранее. Утром, однако, было не до того, поскольку хозяева пригласили нас на коктейль. Эта скромная церемония обошлась почти без приключений, только делегацию США забросали тухлыми помидорами. Не успел я поднять бокал, как Джим Стэнтор, знакомый журналист из ЮПИ, сообщил, что на рассвете похищены консул и третий атташе американского посольства в Костарикане. В обмен на дипломатов похитители-экстремисты требовали освободить политзаключенных, а пока, чтобы подчеркнуть весомость своего ультиматума, присылали в посольство зубы заложников, один за другим, грозя эскалацией насилия. Впрочем, этот инцидент не нарушил дружественной атмосферы приема. Присутствовал лично посол США, произнесший спич о необходимости сотрудничества между народами; правда, выступал он под охраной шести плечистых парней в штатском, которые держали нас на мушке. Мне, признаюсь, стало как-то не по себе, а тут еще, на беду, стоявший рядом темнокожий делегат Индии, которого мучил насморк, полез в карман за платком. Как впоследствии убеждал

меня пресс-секретарь Футурологического общества, примененные средства были необходимыми и гуманными. Охрана вооружена автоматами большого калибра, но малой пробойной силы, такими же, как у охраны пассажирских самолетов, и посторонние ничем не рискуют – не то что раньше, когда пуля, уложив террориста, прошивала еще пять-шесть ни в чем не повинных людей. И все же не слишком приятно, когда сосед, изрешеченный пулями, падает к вашим ногам, даже если это обычное недоразумение, которое исчерпывается путем обмена дипломатическими нотами.

Впрочем, вместо того чтобы рассуждать о гуманной баллистике, мне следовало бы объяснить, почему я так и не успел просмотреть материалы конгресса. Во-первых (подробность малоприятная), пришлось спешно менять окровавленную рубашку; к тому же завтракал я, вопреки обыкновению, не у себя, а в гостиничном баре. С утра я привык есть яйца в мешочек, а гостиница, где можно получить их прямо в постель целехонькими, с нерастекшимся желтком, пока не построена. Дело тут, разумеется, в непрерывном разрастании столичных отелей. Если от кухни до номера полторы мили, ничто не спасет желток от взбалтывания. Как я слышал, эксперты «Хилтона», занимавшиеся этой проблемой, единственным выходом признали сверхзвуковой лифт, но sonic boom – грохот при прохождении звукового барьера – в замкнутом пространстве отеля привел бы к разрыву барабанных перепонок. Конечно, кухонный автомат мог бы доставлять прямо в номер сырые яйца, которые у вас на глазах автокельнер варил бы в мешочек, но отсюда недалеко и до собственного курятника в номере. Вот почему утром я пошел в бар.



Девяносто пять процентов обитателей гостиниц составляют ныне участники конференций и съездов. Гость-одиночка, турист-индивидуалист без опознавательной карточки на лацкане и без портфеля, распухшего от ученых бумаг, стал редок, как черный жемчуг. Одновременно с нашим конгрессом в Костарикане проходила конференция молодых бунтарей группировки «Тигры», конгресс Ассоциации Издателей Освобожденной Литературы, а также Общества филуменистов. Обычно делегатам-коллегам достаются соседние номера, но мне в знак особого уважения дирекция выделила апартаменты на сотом этаже, поскольку здесь имелся пальмовый сад с женским оркестром, исполнявшим концерты Баха; попутно оркестрантки совершали коллективный стриптиз. Без этого я, пожалуй, мог бы и обойтись; к сожалению, свободных номеров уже не было – пришлось довольствоваться тем, что дают. Едва я уселся в баре, как широкоплечий курчавобородый сосед (по его бороде я мог, не хуже чем по меню, прочесть, что он ел на прошлой неделе) сунул мне прямо в нос массивную, с окованным прикладом, двустволку и, радостно гогоча, осведомился, какого я мнения о его папинтовке. Я не понял, о чем он, но предпочел не показывать виду. Молчание – лучшая тактика при случайных знакомствах. И правда, он тут же с готовностью объяснил, что скорострельный двуствольный штуцер с лазерным прицелом – идеальное оружие для охоты на Папу Римского. Болтая без удержу, он достал из кармана помятую карточку; на снимке он изготовился к выстрелу – мишенью служил манекен в круглой шапочке, какие носят кардиналы и папы. Бородач, по его словам, как раз достиг своей лучшей формы и отправлялся в Рим на церковные торжества, чтобы застрелить Его Святейшество на площади Святого Петра. Я несколько ему не поверил, но он, не умолкая ни на минуту, показал мне: авиабилет, карманный трезник и памятку для американских паломников, а также пачку патронов с крестообразной головкой. Из экономии билет он взял лишь в одну сторону, не сомневаясь, что разъяренные пилигримы растерзают его на куски. Мысль об этом, похоже, приводила его в превосходное расположение духа.

Сперва я решил, что передо мною маньяк или профессиональный экстремист-динамитчик, каких в наше время хватает. Ничуть не бывало! Захлебываясь словами и поминутно сползая с высокого табурета – ибо его двустволка то и дело падала на пол, – он объяснял мне, что сам-то он истовый, правоверный католик; тем большей жертвой будет с его стороны эта операция («операция П», как он ее называл). Нужно взбудоражить совесть планеты, а что взбудоражит ее сильнее, чем поступок столь ужасающий? Он, мол, сделает то же, что Авраам, согласно Писанию, хотел сделать с Исааком, только наоборот: не сына ухлопает, а отца, к тому же святого, и явит тем самым пример высочайшего самоотречения, на какое только способен христианин.

Тело он обречет на казнь, душу – на вечные муки, а все для того, чтоб открыть глаза человечеству. «Ну, ну, – подумал я, – не многовато ли развелось желающих открыть нам глаза?» Его филиппика не убедила меня, и я пошел спасать Папу, то есть сообщить кому-нибудь об «операции П»; но Стэнтор, который встретился мне в баре на семьдесят седьмом этаже, даже не выслушал меня до конца и, в свою очередь, рассказал мне, что в подарках, преподнесенных недавно Адриану XI делегацией американских католиков, оказались две бомбы с часовым механизмом и бочонок, наполненный не вином для причастия, а нитроглицерином. Равнодушие Стэнтора стало понятнее, когда я узнал, что экстремисты прислали в посольство уже целую ногу – неизвестно лишь чью. Впрочем, его позвали к телефону, и наша беседа оборвалась; кажется, на Авенида Романа кто-то поджег себя в знак протеста.

В баре на семьдесят седьмом этаже атмосфера царила совершенно иная, нежели у меня наверху. Здесь было полно босоногих девиц в сетчатых блузках до пояса, некоторые – при шпагах; у многих косички прикреплялись, по самой последней моде, к медальону на шее или к обручу, утыканному гвоздиками. Кто они были, филуменистки или секретарши Освобожденных Издателей, не знаю; судя по цветным фотографиям, которые они разглядывали, речь скорее шла об Освобожденной Литературе. Я спустился на девять этажей ниже, к своим футурологам, и в очередном баре пропустил рюмку с Альфонсом Мовеном из агентства Франс Пресс. В последний раз попытался я спасти Папу, но Мовен, выслушав меня со стоической выдержкой, только промычал, что месяц назад какой-то пилигрим-австралиец уже стрелял в Ватикане, хотя и с совершенно иных идейных позиций. Мовен рассчитывал на интересное интервью с неким Мануэлем Пирульо, которого разыскивали ФБР, Сюрте, Интерпол и десяток других полицейских служб. Этот субъект основал фирму услуг нового типа, выступая в роли эксперта по покушениям с применением взрывчатых веществ (отсюда его псевдоним «Бомбардир»), и прямо-таки козырял своей безыдейностью. Нашу беседу прервала рыжеволосая красотка в чем-то вроде кружевной ночной рубашки, продырявленной автоматными очередями, – как выяснилось, связанная экстремистов; ей поручили провести репортера в их штаб-квартиру. На прощание Мовен вручил мне рекламную листовку Пирульо. Настала пора, говорилось в ней, покончить с эскападами безответственных дилетантов, которые динамит не отличают от мелинита, а гремучую ртуть – от бикфордова шнура; в эпоху узкой специализации нелепо кустарничать, пренебрегая помощью добросовестных и квалифицированных специалистов. На обороте помещался ценник услуг в валюте наиболее развитых стран.



Профессор Машкенази вбежал, когда футурологи начали стекаться в бар, бледный как смерть; его била нервная дрожь, он кричал, что в номере у него бомба с часовым механизмом. Бармен, привычный, как видно, к таким происшествиям, не раздумывая, скомандовал: «В укрытие!» – и нырнул под стойку. Однако вскоре гостиничные детективы установили, что это всего лишь розыгрыш: в коробку из-под печенья кто-то из футурологов засунул обыкновенный будильник. Шутник, похоже, был англичанином, они обожают такие practical jokes¹. Впрочем, инцидент тут же предали забвению, ибо явились Дж. Стэнтор и Дж. Г. Хаулер, репортеры ЮПИ, с текстом ноты правительства США относительно похищенных дипломатов. Нота была составлена на

¹ Розыгрыши (англ.).

обычном дипломатическом языке, и ни зубы, ни нога не назывались в ней прямо. Джим сказал, что правительство может решиться на крайние меры. Стоящий у власти генерал Аполлон Диас склоняется к мнению «ястребов» – на насилие ответить насилием. На заседании (правительство заседало непрерывно) было предложено нанести контрудар, то есть вырвать у политзаключенных, выдачи которых требуют экстремисты, по два зуба за зуб и – поскольку адрес их штаб-квартиры неизвестен – послать эти зубы до востребования. В экстренном выпуске «Нью-Йорк таймс» обозреватель газеты Сульцбергер взывал к человеческому разуму и солидарности. Стэнтор под большим секретом сообщил мне, что Диас конфисковал принадлежащий правительству США поезд с военным снаряжением; он шел транзитом через Костарику в Перу. Экстремисты еще не напали на мысль похищать футурологов, что с их точки зрения было бы вовсе не глупо: ведь в тот момент футурологов в Костарике насчитывалось больше, чем дипломатов. Впрочем, стоэтажный отель – организм до того огромный и столь комфортабельно изолированный от всего света, что вести извне доходят сюда словно с другого полушария. Пока что футурологи не проявляли ни малейших признаков паники; никто не штурмовал бюро путешествий отеля – желающих немедленно вылететь в Штаты или другую страну было не больше обычного.

На два часа был назначен банкет по случаю открытия, а я не успел еще переодеться в вечернюю пижаму; итак, я поехал к себе, а потом, задыхаясь от спешки, спустился на 46-й этаж, в Пурпурный зал. В фойе меня встретили две прелестные девушки в одних шароварах (их бюсты были расписаны незабудками и подснежниками) и вручили сверкающий глянцем проспект. Не взглянув на него, я вошел в пустой еще зал; при виде накрытых столов у меня перехватило дыхание. Не потому, что они ломились от яств, нет – шокировали формы всех закусок без исключения; даже салаты имели вид гениталиев. Обман зрения полностью исключался, ибо невидимые глазу динамики грянули популярный в определенных кругах шлагер: «Лишь кретины и каналы ненавидят гениталии, нынче всюду стало модно славить орган детородный!» Появились первые гости, густобородые и пышноусые, впрочем, люди все молодые, в пижамах или без оных; а когда шестеро официантов внесли торт, то при виде этого непристойнейшего в мире творения кулинаров стало окончательно ясно: я ошибся этажом и попал на банкет Освобожденной Литературы. Сославшись на то, что потерялась моя секретарша, я поспешил улизнуть и спустился на этаж ниже, чтобы перевести дух в подобающем месте; Пурпурный зал (а не Розовый, куда меня занесло) был уже полон.

Разочарование, вызванное неприятной обстановкой приема, я, насколько

мог, скрыл. Горячих блюд не было, к тому же из огромного зала убрали все кресла и стулья, дабы гости питались стоя. Пришлось проявить необходимую в таких случаях ловкость, чтобы пробраться к тарелкам с наиболее существенным содержимым. Сеньор Кильоне, представитель костариканской секции Футурологического общества, очаровательно улыбаясь, разъяснял неуместность кулинарных излишеств: ведь темой дискуссии будет, в частности, грозящая миру голодная катастрофа. Нашлись, разумеется, скептики, утверждавшие, что обществу просто урезали дотации, отсюда и бережливость устроителей. Журналисты, по роду занятий вынужденные поститься, шныряли по залу в поисках интервью со светилами зарубежной прогностики; вместо посла США прибыл всего лишь третий секретарь посольства, с мощной охраной, один во всем зале – в смокинге (бронированный жилет трудно укрыть под пиджак). Гостей из города, как я слышал, подвергали досмотру, и в холле будто бы уже высились горы изъятого оружия.

Первое заседание было назначено на пять вечера, оставалось достаточно времени, чтобы отдохнуть, и я снова отправился на сотый этаж. После пересоленных салатов хотелось пить, но баром моего этажа прочно овладели динамитчики и бунтари со своими девицами, я же был сыт по горло беседой с бородатым папистом (или антипапистом). Пришлось ограничиться водой из-под крана. Не успел я допить стакан, как в ванной и обеих комнатах погас свет, а телефон, какой бы номер я ни набирал, упорно связывал меня с автоматом, рассказывающим сказку о Золушке. Спуститься на лифте не удалось: он тоже вышел из строя. Из бара доносилось хоровое пение молодых бунтарей; те уже стреляли в такт музыке, хотелось бы думать, что мимо. Подобные вещи случаются и в первоклассных отелях, хотя утешительного тут мало; но что удивило меня больше всего, так это моя собственная реакция. Настроение, довольно скверное после беседы с папским стрелком, улучшалось с каждой секундой. Пробираясь на ощупь и опрокидывая при этом стулья, я только кротко улыбался в темноту, и даже колена, разбитое в кровь о чемоданы, ничуть не уменьшило моей благосклонности ко всему на свете. Нащупав на ночном столике остатки второго завтрака, который я заказал в номер, я вырвал из программы конгресса листок, свернул его, воткнул в кружок масла и зажег. Получилась коптящая, правда, но все-таки плошка; при ее мерцающем свете я уселся в кресло. У меня оставалось два с лишним часа свободного времени, включая часовую прогулку по лестнице, ведь лифт не работал. Мое душевное состояние претерпевало странные метаморфозы; я следил за ними с живым интересом. Мне было на редкость весело, просто чудесно! Я с ходу мог бы привести массу доводов в защиту всего, что со мною случилось. Мне было ясно как дважды два, что номер «Хилтона», погруженный в крошечную тьму, в чаду и копоти

от масляной площадки, отрезанный от остального мира, с телефоном, рассказывающим сказки, – одно из приятнейших мест на свете. К тому же мне страшно хотелось погладить кого-нибудь по голове, на худой конец пожать кому-нибудь руку – и чтобы при этом мы проникновенно заглянули друг другу в глаза.

Я в обе щеки расцеловал бы злейшего врага. Распльвшееся масло шипело, дымило, и площадка поминутно гасла; то, что «масло» рифмуется с «погасло», вызвало у меня прямо-таки пароксизм смеха, хотя как раз в эту минуту я обжег себе пальцы, пытаюсь снова зажечь бумажный фитиль. Самодельный светильник едва теплился, а я мурлыкал себе под нос арии из старых оперетт, не замечая, что от чада першит в горле и слезы струятся из воспаленных глаз. Вставая, я упал и ударился лбом о чемодан, но шишка величиной с яйцо лишь улучшила мое настроение, насколько это было еще возможно. Почти удушенный едким, вонючим дымом, я прямо-таки покатывался со смеху в приступе беспричинной восторженности. Потом лег на кровать, не застеленную с утра, хотя было далеко за полдень; о нерадивой прислуге я думал как о собственных детях: кроме ласковых уменьшительных прозвищ и нежных словечек, ничего не приходило мне в голову. А если я задохнусь? Ну что ж – о такой милой, забавной смерти можно только мечтать. Эта мысль, совершенно чуждая моему душевному складу, подействовала на меня, как ушат холодной воды. Мое сознание удивительным образом расщепилось. В нем по-прежнему царила тихая умиротворенность, безграничное дружелюбие ко всему на свете, а руки до такой степени рвались погладить кого ни попадя, что за отсутствием посторонних я принялся бережно гладить по щекам и с нежностью потягивать за уши себя самого; кроме того, я несколько раз подавал левую руку правой – для крепкого рукопожатия. Даже ноги тянулись кого-нибудь приласкать. Но где-то в глубине сознания вспыхивали сигналы тревоги. «Здесь что-то не так, – кричал во мне приглушенный, далекий голос, – смотри, Ийон, в оба, берегись! Благодушие твое подозрительно! Ну, давай же, смелее, вперед! Не сиди развалившись, как Онассис какой-нибудь, весь в слезах от дыма и копоти, с лиловой шишкой на лбу, одурманенный альтруизмом! Не иначе это какой-то подвох!» Тем не менее, я и пальцем не шевельнул. В горле у меня пересохло, а сердце колотилось как бешеное – не иначе как от нахлынувшей на меня вселенской любви. Я побрел в ванную, изнемогая от жажды; вспомнил о пересоленном салате, которым потчевали нас на банкете (если шведский стол можно назвать банкетом); потом представил себе для пробы господ Я.В., Г.К.М., М.В. и других моих злейших врагов и понял, что желаю лишь одного: братски пожать им руки, сердечно расцеловать и обменяться парой дружеских слов. Это уж было слишком. Я застыл, держа одну руку на никелированном кране, а другой сжимая пустой стакан. Затем медленно набрал

воды и, скривив лицо в какой-то странной гримасе – в зеркале я видел борьбу различных выражений собственного лица, – выплеснул воду в раковину.

ВОДА ИЗ-ПОД КРАНА! Да, да. После нее все и началось. Что-то такое в ней было! Яд? Но разве бывает яд, который... А впрочем, минутку... Ведь я – постоянный подписчик научных журналов и недавно читал в «Сайенс ньюс» о новых психотропных средствах из группы так называемых бенигнаторов (умилителей). Они вызывают беспричинное ликование и благодущие. Ну конечно! Эта заметка стояла у меня перед глазами. Гедонидол, филантропин, любинил, эйфоризол, фелицитол, альтруизан и тьма-тьмуцая производных! Одновременно, путем замещения гидроксильных соединений амидными, из тех же веществ были синтезированы фуриазол, садистизин, агрессий, депрессин, амокомин и прочие препараты биологической группы; они побуждают избивать и тиранить все подряд, вплоть до неодушевленных предметов; особенно славятся врубинал и зубодробин.



Зазвонил телефон, и тут же включился свет. Голос портье торжественно и подобострастно приносил извинения за аварию. Я открыл дверь в коридор и проветрил номер – в гостинице, насколько я мог понять, царило спокойствие; потом, все еще в

блаженном угаре, обуреваемый желанием благословлять и осыпать ласками, закрыл дверь на защелку, сел посреди комнаты и попытался привести себя в чувство. Очень трудно описать мое состояние. Любая трезвая мысль словно увязала в меду, барахталась в гоголе-моголе глуповатого благодушия, утонула в сиропе возвышенных чувств, сознание погружалось в сладчайшую из трясин, захлебывалось жидкой глазурью и розовым маслом; я через силу заставлял себя думать о том, что для меня всего омерзительнее – о бородатом головорезе с противоположной двустволкой, о разнузданных пропагандистах Освобожденной Литературы и их вавилоно-содомском пиршестве, снова о господах Я.В., Г.К.М., М.В. и прочих прохвостах и негодях, – и с ужасом убедился, что всех я люблю, всем все прощаю; мало того, немедленно приходили на ум аргументы, извиняющие любое зло и любую мерзость. Могучая волна любви к ближнему захлестнула меня; но особенно донимали меня ощущения, которые лучше всего, пожалуй, назвать «позывом к добру». Вместо того чтобы размышлять о психотропных ядах, я упорно думал о сиротах и вдовах: с каким наслаждением я утешил бы их! Как непростительно мало внимания уделял я им до сих пор! А голодные, а убогие, а больные, а нищие – Боже праведный! Неожиданно я обнаружил, что стою на коленях перед чемоданом и выбрасываю его содержимое на пол в поисках вещей попримличнее – для неимущих.

И опять в подсознании зазвучали далекие голоса тревоги. «Берегись! Не дай себя заморочить! Борись, бей, спасайся!» – донесся откуда-то слабый, но отчаянный крик. Я буквально раздваивался. Я до того проникся кантовским категорическим императивом, что не обидел бы даже мухи. Какая жалость, что в «Хилтоне» нет мышей или хоть пауков, – я бы их пригрел, приласкал! Мухи, клопы, комары, крысы, вши – голубчики вы мои! Я торопливо благословил стол, лампу и собственные ноги. Но рассудок уже возвращался ко мне; не теряя времени, я ударил левым кулаком по правой руке, раздававшей благословения, и взвыл от боли. Да, это было недурно! Это, пожалуй, могло бы меня спасти! На мое счастье, позыв к добру был направлен не внутрь, а наружу: ближнему я желал несравненно лучшей участи, нежели себе самому. Для начала я несколько раз заехал себе по физиономии, да так, что захрустел позвоночник, а из глаз посыпались искры. Отлично, так вот и надо! Когда лицо совсем онемело, я принялся за лодыжки. Ботинки у меня, слава богу, были тяжелые, с чертовски твердой подошвой; после серии жестоких пинков мне стало немного лучше, то есть хуже. Я осторожно попробовал представить себе тумак в спину Г.К.М. Теперь это уже не казалось абсолютно невозможным. Щиколотки обеих ног нестерпимо болели, но, должно быть, как раз поэтому я смог вообразить даже пинок, адресованный М.В. Не обращая внимания на острую боль, я продолжал себя истязать. Тут годился любой

остроконечный предмет; сперва я орудовал вилкой, а после булавкой, извлеченной из новой, ни разу не надеванной рубашки. Впрочем, мое настроение менялось не плавно, а с перепадами; чуть позже я снова был готов взойти на костер ради ближнего, с новой силой прорвался во мне гейзер благородных порывов и жертвенного экстаза. Сомневаться не приходилось: **ЧТО-ТО БЫЛО В ВОДЕ ИЗ-ПОД КРАНА!** Да, да!!! В моем чемодане давно валялась непочатая упаковка снотворного. Оно приводило меня в злое и мрачное расположение духа, поэтому я им и не пользовался; хорошо, хоть не выбросил. Проглотив таблетку, я заел ее почерневшим маслом (воды я страшился как дьявола), затолкал себе в рот две кофеиновые пастилки, чтоб не уснуть, сел и со страхом – но и с любовью к ближнему – стал ожидать исхода химической битвы в своем организме. Любовь еще насильовала меня, я чувствовал себя умиротворенным, как никогда. Все же препараты зла начали превозмогать химикаты добра: я по-прежнему был готов благодетельствовать, но уже с разбором. И то хорошо, хотя на всякий случай я предпочел бы побыть – недолго – последним мерзавцем.

Через четверть часа все как будто прошло. Я принял душ и вытерся жестким полотенцем, время от времени награждая себя зуботычинами – профилактики ради; заклеил пластырем избитые в кровь щиколотки и костяшки пальцев, пересчитал синяки (я и вправду разукрасил себя на совесть), надел свежую рубашку, поправил перед зеркалом галстук, одернул смокинг, напоследок заехал себе под ребро, для поднятия духа и для контроля, и вышел – в самую пору, чтобы успеть к пяти.

В отеле, вопреки ожиданию, все было как обычно. Я заглянул в бар – тот почти опустел; прислоненная к табурету, стояла папинтовка, две пары ног высывались из-под стойки, одна из них босая, но вряд ли причиной тому было альтруистическое самоотречение. Несколько динамитчиков дулись у стены в карты, еще один брэнчал на гитаре, мурлыча все тот же непристойнейший шлягер. Внизу, в холле, толпились футурологи. Они тоже спешили на заседание, впрочем, не выходя из отеля: конференц-зал находился в его цокольной части. Все это сначала меня удивило; по некотором размышлении, однако, я понял: в таком отеле воду из-под крана не пьют, жажду утоляют здесь кока-колой и швепсом, в крайнем случае – чаем, соками или пивом. К спиртному подается минеральная или содовая вода; а тот, кто имел несчастье совершить ту же ошибку, что я, теперь, наверное, корчится в судорогах вселенской любви, запершись у себя в номере. Поэтому, решил я, лучше даже не заикаться о своих ощущениях; я здесь человек чужой, кто мне поверит? Это всё, скажут, аберрации и галлюцинации. Чего доброго, примут за наркомана, дело обычное.

Впоследствии многие меня упрекали: я, дескать, выбрал тактику страуса или улитки; не промолчи я тогда, и все бы обошлось хорошо. Но это – очевидное

заблуждение. Постояльцев отеля я, может, и предостерег бы, однако события в «Хилтоне» никак не влияли на политические перипетии Костариканы.

По пути в конференц-зал я набрал кипу местных газет – такая уж у меня привычка. Я, конечно, читаю не на всех языках, но по-испански человек образованный всегда что-нибудь разберет.

На возвышении красовалась повестка дня, обрамленная зеленью; первым пунктом шла глобальная урбанистическая катастрофа, вторым – катастрофа экологическая, затем – климатическая, энергетическая и продовольственная, после чего обещан был перерыв. Военная, технологическая и политическая катастрофы откладывались на другой день, вместе с дискуссией на свободные темы.

Докладчику отводилось четыре минуты – многовато, пожалуй, ведь было заявлено 198 докладов из 64 стран. Для экономии времени доклады надлежало изучить заранее, а оратор лишь называл цифры – номера ключевых абзацев своего реферата. Чтобы лучше усвоить эту премудрость, мы включили карманные магнитофоны и мини-компьютеры; между ними должна была завязаться потом основная дискуссия. Стенли Хейзлтон из США сразу ошеломил зал, отчеканив: 4, 6, 11, откуда следует 22; 5, 9, ergo² 22; 3, 7, 2, 11, из чего опять же получается 22!!! Кто-то, привстав, выкрикнул, что все-таки 5 и, может быть, 6, 18, 4. Хейзлтон с лёту опроверг возражение, разъяснив, что так или этак – кругом 22. Заглянув в номерной указатель, я обнаружил, что 22 означает окончательную катастрофу.



² Следовательно (лат.).

Японец Хаякава сообщил о разработанной его соотечественниками модели жилого здания в восемьсот этажей – с родильными клиниками, яслями, школами, магазинами, музеями, зоопарками, театрами, кинозалами и крематориями; предусматривались подземные помещения для погребальных урн, телевидение на сорок каналов, опохмелители и вытрезвители, залы на манер гимнастических для занятий групповым сексом (свидетельство передовых убеждений проектировщиков), а также катакомбы для субкультурных групп неконформистского толка. Любопытным новшеством было намеченное в проекте ежедневное переселение каждой семьи на другую квартиру – ходом либо пешком, либо коня, во избежание скуки и стрессов. Вдобавок это здание в 17 кубокилометров, стоящее на дне океана, а крышей достигающее стратосферы, намечалось снабдить matrimониальным компьютером садомазохистского образца (по данным статистики, пары садистов с мазохистками, и наоборот, наиболее устойчивы, ибо каждый партнер находит в другом то, что ищет), а кроме того, центром антисамоубийственной терапии. Другой японский делегат, Хакаява, продемонстрировал макет такого дома в масштабе 1:10 000, с собственными резервами кислорода, но без резервов продовольствия и воды, то есть с частично замкнутым циклом жизнеобеспечения. Все выделения, не исключая предсмертного пота, подлежали регенерации. Третий японец, Яхакава, зачитал список деликатесов, синтезируемых из выделений жильцов. Тут, между прочим, значились искусственные бананы, пряники, креветки, устрицы и даже синтетическое вино, которое, несмотря на свое не слишком благородное происхождение, не уступало, если верить докладчику, лучшим винам Шампани. По залу стали разносить пробные дозы в изящных бутылочках и паштетики в блестящей фольге, но футурологи не спешили пригубить вино, а паштетики потихоньку засовывали под кресло; я поступил так же. Первоначальный план, согласно которому дом-гигант снабжался пропеллерами (на случай коллективных воздушных экскурсий), – был отвергнут. Во-первых, потому, что таких домов для начала предполагалось изготовить 900 миллионов; во-вторых, подобные путешествия все равно не имели бы смысла. Даже если бы жильцы выходили на экскурсию из тысячи дверей сразу, они все равно никогда бы не вышли: прежде чем последний из них покинет здание, успеют подрасти родившиеся за это время младенцы.

Японцы, по-видимому, были от своего проекта в восторге. После них слово взял Норман Юхас из США и предложил семь методов борьбы с демографическим взрывом: уговоры, судебные приговоры, деэротизация, принудительная целибатизация, онанизация, строгая изоляция, а для упорствующих – кастрация. Каждая супружеская чета должна была просить разрешение на ребенка, а затем еще выдержать три

экзамена – по копуляции, воспитанию и взаимному обожанию. Нелегальное деторождение объявлялось наказуемым, а повторное – каралось пожизненным заключением. К этому-то докладу и прилагались те миленькие проспекты и отрывные талоны, которые мы получили утром в числе материалов конгресса. Хэйзлтон и Юхас предвидели



появление новых профессий, как-то: матримониальный осведомитель, запретитель, разделитель и затыкатель; проект нового Уголовного кодекса, в котором зачатие фигурировало в качестве тягчайшего из преступлений, был нам немедленно роздан. Тут случился прискорбный инцидент: с галереи для публики кто-то швырнул бутылку со взрывчатой смесью. «Скорая помощь» (она была тут как тут, укрытая в кулуарах) сделала свое дело, а служба наблюдения за порядком быстро прикрыла исковерканные кресла и останки ученых нейлоновым покрывалом с жизнерадостными узорами; как видно, устроители заранее обо всем позаботились.

В паузах между докладами я попробовал читать местные газеты и, хотя испанский понимал с пятого на десятое, все же узнал, что правительство стянуло в город танковые части, поставило на ноги всю полицию и объявило военное положение. По-видимому, кроме меня, никто не догадывался о том, что творится за стенами «Хилтона». В семь объявили перерыв, чтобы участники могли подкрепиться – разумеется, за свой счет; возвращаясь в зал, я купил очередной экстренный выпуск официозной газеты «Насьон» и парочку экстремистских «вечерок». Даже при моем весьма приблизительном знании языка эти газеты показались мне необычными. Блаженно-оптимистические сентенции о христианской любви – залого всеобщего счастья – перемежались угрозами кровавых репрессий и столь же свирепыми ультиматумами экстремистов. Такой разнобой объясняла одна лишь гипотеза: часть журналистов пила водопроводную воду, а прочие – нет. В органе правых воды, естественно, было выпито меньше; сотрудники оплачивались здесь лучше и за работой подкреплялись напитками подороже. Впрочем, экстремисты, хоть и не чуждые аскетизма во имя высших идеалов и лозунгов, тоже не слишком часто утоляли жажду водой, если учесть, что картсупио (напиток из перебродившего сока растения мелменоле) в Костарикане невероятно дешев.

Не успели мы погрузиться в мягкие кресла, а профессор Дрингенбаум из Швейцарии – произнести первую цифру своего доклада, как с улицы послышались глухие взрывы; здание дрогнуло, зазвенели оконные стекла, но футурологи-оптимисты

кричали, что это просто землетрясение. Я же склонялся к тому, что какая-то из оппозиционных группировок (они пикетировали отель с самого начала конгресса) бросила в холл петарды. Меня разубедил еще более сильный грохот и сотрясение; теперь уже можно было различить стакато пулеметных очередей. Обманываться не приходилось: Костарикана вступила в стадию уличных боев. Первыми сорвались с места журналисты – стрельба подействовала на них, как побудка. Верные профессиональному долгу, они помчались на улицу. Дрингенбаум попытался продолжить свое выступление, в общем-то довольно пессимистическое. Сначала цивилизация, а после каннибализация, утверждал он, ссылаясь на известную теорию американцев, которые подсчитали, что, если ничего не изменится, через четыреста лет Земля превратится в шар из человеческих тел, разбухающий со скоростью света. Однако новые взрывы заставили профессора замолчать.

Футурологи в растерянности выходили из зала; в холле они смешались с участниками Конгресса Освобожденной Литературы, которых, судя по внешнему виду, начало боев застало в разгар занятий, приближающих демографическую катастрофу. За редакторами издательской фирмы А. Кнопфа шествовали их секретарши (сказать, что они неглиже, я не мог бы – кроме нательных узоров в стиле поп-арт, на них вообще ничего не было) с портативными кальянами и наргиле, заправленными модной смесью ЛСД, марихуаны, иохимбина и опиума. Как я услышал, адепты Освобожденной Литературы только что сожгли *in effigie*³ американского министра почты и телеграфа – тот, видите ли, приказал своим служащим уничтожить листовки с призывами к массовому кровосмешению. В холле они вели себя отнюдь не добропорядочно, особенно если учесть серьезность момента. Общественного приличия не нарушали лишь те из них, кто совершенно выбился из сил или пребывал в наркотическом оцепенении. Из кабин доносился истошный визг бедняжек телефонисток; какой-то толстобрюхий субъект в леопардовой шкуре и с факелом, пропитанным гашишем, бушевал между рядами вешалок, атакуя весь персонал гардероба. Портье с трудом утихомирили его, призвав на помощь швейцаров. С антресолей кто-то забрасывал нас охапками цветных фотографий, детально изображающих то, что один человек под влиянием похоти может сделать с другим, и даже гораздо больше. Когда на улице появились первые танки (их прекрасно было видно в окно), из лифтов повалили перепуганные филуменисты и бунтари; растапывая эротические закуски, принесенные издателями и разбросанные теперь по холлу, постояльцы разбегались кто куда. Ревя, как обезумевший буйвол, и сокрушая прикладом своей папинтовки всех и вся,

³ В изображении (лат.).

пробивался через толпу бородатый антипапист; он – я видел своими глазами – выбежал из отеля, чтобы немедля открыть огонь по пробегающим мимо людям. Похоже, ему, убежденному экстремисту крайнего толка, было все равно, в кого бы ни стрелять. Когда со звоном начали лопаться огромные окна, холл, оглашаемый криками ужаса и любострастия, превратился в сущее пекло. Я попробовал отыскать знакомых журналистов; увидел, что они бегут к выходу, и последовал их примеру – в «Хилтоне» и в самом деле становилось не очень уютно.



Несколько репортеров, припав к земле за бетонным барьерчиком автостоянки, усердно фотографировали происходящее, впрочем, без особой надежды на успех: как всегда в таких случаях, в первую очередь были подожжены машины с заграничными номерами, и над паркингом вздымались языки пламени и клубы дыма. Мовен из АФП, оказавшийся рядом со мной, потирал руки от удовольствия: он-то взял машину в прокатной конторе Херца и только посмеивался, глядя на свой полыхающий «додж». Большинство репортеров-американцев не разделяло его веселья. Какие-то люди – по большей части бедно одетые старички – пытались сбить огонь с пылающих автомашин; воду они носили ковшиками из фонтана неподалеку. Уже здесь было над чем призадуматься. Вдали, в конце Авенида дель Сальвасьон и дель Ресурсксьон, поблескивали на солнце полицейские каски, но площадь перед отелем и окружавшие ее парки с высокими пальмами были безлюдны. Старички надтреснутыми голосами подбадривали друг друга, хотя их слабые ноги подкашивались; такой энтузиазм показался мне просто невероятным; но тут я вспомнил о происшествии у себя в номере и немедленно поделился своими предположениями с Мовеном. Стрекотание пулеметов, басовые аккорды взрывов затрудняли беседу; подвижное лицо француза выражало полное недоумение, затем его глаза заблестели. «А-а! – зарычал он, перекрывая уличный грохот. – Вода! Из-под крана? Боже мой, впервые в истории... тайная химиократия!» С этими словами он как ошпаренный помчался к отелю – разумеется, чтобы занять место у телефона: как ни странно, связь еще действовала.

Я остался стоять у подъезда; ко мне подошел профессор Троттельрайнер из делегации швейцарских футурологов, и тут произошло то, чего, собственно, давно уже следовало ожидать. Появились вооруженные полицейские – строем, в противогазах и черных касках, с черными нагрудными щитами; они оцепили весь комплекс «Хилтона»,

чтобы преградить путь толпе, которая выходила из парка, отделявшего отель от городского театра. Отряд особого назначения с немалой сноровкой устанавливал гранатометы; их первые залпы ударили по толпе. Взрывы были на удивление слабые, зато сопровождались целыми тучами белесого дыма. Слезоточивый газ, решил я; но толпа не бросилась врассыпную и не разразилась яростным воплем – ее определенно тянуло к этому дымному облаку. Крики быстро затихли, сменившись чем-то вроде хоральных песнопений. Журналисты, метавшиеся со своими камерами и магнитофонами между полицейским кордоном и входом в отель, не могли взять в толк, что здесь, собственно, происходит, но я-то уже догадался: полиция, несомненно, применила оружие химического ублагодворения в форме аэрозолей. Но от Авенида дель... – как там ее? – вышла вторая колонна, на которую эти гранаты почему-то не действовали, а может, так только казалось; как потом утверждали, колонна двигалась дальше, чтобы побрататься с полицией, а не разорвать ее на куски, но кого, скажите на милость, могли занимать подобные тонкости в обстановке полного хаоса? Гранатометчики ответили залпами, следом с характерным шипением и свистом отозвались водометы, наконец, застрекотали пулеметные очереди, и воздух загудел от пуль и снарядов. Дело приняло нешуточный оборот; я прижался к земле за барьерчиком автостоянки, словно за бруствером, и очутился между Стэнтором и Хейнзом из «Вашингтон пост».

В двух словах я обрисовал ситуацию, и они, отчитав меня за то, что сенсационную новость первым узнал репортер АФП, наперегонки поползли к «Хилтону», но вскоре вернулись разочарованные: связи не было. Стэнтор все же прорвался к офицеру, руководившему обороной отеля, и узнал, что вот-вот прилетят самолеты с *бумбами*, то есть с Бомбами Умиротворения и Благочиния. Нам приказано было очистить площадь, а полицейские, все как один, натянули противогазы со специальными адсорбентами. Нам их тоже раздали.

Троттельрайнер – волею случая он оказался еще и специалистом по психофармакологии – предупредил, чтобы я ни в коем случае не пользовался противогазом. При большой концентрации аэрозолей противогаз теряет защитные свойства: происходит «скачок» отравляющих веществ через адсорбент, и тогда в считанные секунды можно наглотаться ОВ больше, чем без противогаза; надежную защиту обеспечивает лишь кислородный аппарат. Поэтому мы отправились в регистратуру отеля, разыскали последнего оставшегося на посту портье и по его указаниям добрались до пожарного пункта. Действительно, здесь было полно кислородных аппаратов системы Дрегера, с замкнутым циклом. Обеспечив тем самым свою безопасность, мы вышли на улицу – как раз в ту минуту, когда пронзительный

свист над нашими головами возвестил о появлении первых *бумбардировщиков*. Как известно, «Хилтон» по ошибке подвергся *бумбардировке* в первые же минуты воздушной атаки; последствия были катастрофическими. *Бумбы*, правда, попали лишь в дальнее крыло нижней части отеля, где на больших щитах размещалась выставка Ассоциации Издателей Освобожденной Литературы, так что никто из постояльцев не пострадал; зато охранявшей нас полиции не поздоровилось. Через минуту после налета приступы христианской любви в ее рядах приняли повальный характер. На моих глазах полицейские, сорвав с себя маски противогазов, заливались слезами раскаяния. Они на коленях вымаливали прощение у демонстрантов, требовали, чтобы те хорошенько их вздули, и всовывали им в руки свои увесистые дубинки; а после второго захода *бумбардировщиков*, когда концентрация аэрозолей возросла, наперебой бросались ласкать и голубить каждого встречного. Восстановить ход событий, и то частично, удалось лишь через несколько недель после трагедии. Еще утром власти решили подавить в зародыше назревавший государственный переворот и ввели в водонапорную башню около 700 килограммов двуоксида азота и суперумилина с фелицитолом; подача воды в армейские и полицейские казармы была предусмотрительно перекрыта. Но все пошло насмарку из-за отсутствия толковых специалистов: не был предусмотрен «скачок» аэрозолей через фильтры, а также то, что разные социальные группы потребляют вовсе не одинаковое количество питьевой воды.



Духовное просветление полиции оказалось особенно неожиданным для правительства потому, что бенигнаторы, как объяснил Троттельрайнер, действуют на людей тем сильнее, чем меньше были они подвержены естественным, врожденным благим побуждениям. Так что, когда вторая волна самолетов *разбумбила* президентский дворец, многие из высших полицейских и военных чинов покончили с собой, не в силах вынести кошмарных мучений совести. Если добавить, что генерал Диас, прежде чем застрелиться, велел открыть тюрьмы и выпустить политзаключенных, будет легче понять необычайную ожесточенность боев, развернувшихся с наступлением ночи. Но авиабазы, удаленные от столицы, не понесли никакого ущерба. Их командование имело свои инструкции, которым и следовало до конца, между тем как полицейские и армейские наблюдатели, укрытые в герметичных бункерах, видя, что творится вокруг, решили прибегнуть к крайнему средству, ввергнувшему весь Нунас в состояние коллективного помешательства. Обо всем этом мы в «Хилтоне», разумеется, не могли и догадываться.

Около одиннадцати вечера на театре военных действий, то есть на площади с прилегающими к ней парками, появились танковые части. Им было приказано сокрушить любовь к ближнему, овладевшую столичной полицией, и они выполняли приказ, не жалея снарядов. Ублаготворяющая граната разорвалась в метре от Альфонса Мовена; взрывной волной бедняге оторвало пальцы левой руки и левое ухо, а он заверял меня, что эту руку он давно считал лишней, об ухе и говорить нечего, и, если я захочу, он тут же пожертвует мне второе; он даже достал из кармана перочинный нож, но я деликатно обезоружил репортера и доставил в импровизированный лазарет. Здесь им занялись секретарши издателей-освобожденцев, ревушие в три ручья по причине химического перерождения. Они не только были застегнуты на все пуговицы, но и надели что-то вроде чадры, дабы не ввергнуть ближнего в искушение; те же, кого особенно проняло, остриглись, бедняжки, наголо! Возвращаясь из лазарета, я на свою беду встретил группу издателей и не сразу узнал их: они напялили старые джутовые мешки и подпоясались веревками, которые к тому же служили для самобичевания. Упав на колени, они наперебой просили меня смилостивиться над ними и хорошенько их отстегать за развращение общественных нравов. Каково же было мое изумление, когда, присмотревшись поближе, я узнал в этих флагеллантах сотрудников «Плейбоя» в полном составе, вместе с главным редактором! Он не позволил мне отвертеться – так его донимало раскаяние. Эти сукины дети хорошо понимали, что только я, благодаря кислородному аппарату, могу им помочь; в конце концов я уступил, против собственной воли и лишь для очистки совести. Рука у меня затекла, дыхание под кислородной маской сбилось, я

боялся, что не найду запасного баллона, когда этот кончится, а наказуемые, выстроившись в длинную очередь, с нетерпением ожидали своей минуты. Чтобы отвязаться от них, я велел им собрать эротические плакаты – взрыв *бумбы* в боковом крыле «Хилтона» (где размещался Centro erotico) разбросал их по холлу, уподобив его Содому и Гоморре. Они свалили плакаты в огромную грудку у входа в отель и подожгли. К несчастью, дислоцированная в парке артиллерия, приняв наш костер за какой-то сигнал, открыла по нему огонь. Я дал стрелкача – и в подвале очутился в объятиях мистера Харви Симворта, того самого, кто первым додумался переделывать детские сказочки в порнографические истории («Красная Шапочка-переросток», «Али-Баба и сорок любовников» и пр.), а потом сколотил состояние, перелицовывая мировую классику. Его метод был крайне прост: любое название начиналось со слов «половая жизнь» («...Белоснежки с семьей гномами», «...Аладдина с лампой», «...Алисы в Стране чудес», «...Гулливера» и т.д., до бесконечности). Напрасно я отговаривался крайней усталостью. Он с рыданием в голосе упрашивал хотя бы пнуть его хорошенько. Делать нечего – пришлось подчиниться еще раз.

Я был так измотан, что едва дотащился до пожарного пункта, где, к счастью, нашлось несколько полных кислородных баллонов. На свернутом шланге сидел, углубившись в футурологические доклады, профессор Троттельрайнер, очень довольный, что выкроил наконец немного свободного времени, которого никогда не бывает у кочующего футуролога. Между тем *бумбардировка* продолжалась вовсю. При наиболее тяжелых формах поражения добротой (особенно жутко выглядел приступ вселенской нежности с ласкательными конвульсиями) профессор рекомендовал горчичники и большие дозы касторки в сочетании с промыванием желудка.

В пресс-центре Стэнтор Вули из «Геральд», Чарки и фоторепортер Кюнце, временно занятый в «Пари-матч», не снимая противогазов, играли в карты: из-за отсутствия связи им нечего было делать. Я присоединился к ним в качестве зрителя, и тут в пресс-центр влетел Джо Миссенджер, старейшина американской журналистики; он сообщил, что полиции розданы таблетки фуриазола для нейтрализации бенигнаторов. Ему не пришлось повторять это дважды – мы стремглав помчались в подвал, но вскоре выяснилось, что тревога была ложная. Мы вышли на улицу; не без сожаления я обнаружил, что отель стал десятка на два этажей ниже; лавина обломков погребла мой номер со всем, что там находилось. Зарево охватило три четверти небосвода. Здоровенный полицейский в шлеме гнался за каким-то подростком с криком: «Остановись, ради Бога, остановись, я же тебя люблю!» – но тот, как видно, не принимал его уверений всерьез.

Грохот понемногу стихал; журналистов разбирало профессиональное

любопытство, и мы осторожно двинулись в сторону парка. Здесь при живейшем участии тайной полиции совершались черные, белые, розовые и смешанные мессы. Огромная толпа неподалеку горько рыдала; над ней возвышался плакат: «**НЕ ЖАЛЕЙТЕ НАС, ПРОВОКАТОРОВ!**». Судя по числу обращенных иуд, расходы правительства на их содержание были немалыми и, надо думать, отрицательно сказывались на экономическом положении Костариканы. Вернувшись к «Хилтону», мы увидели перед отелем еще одну толпу. Полицейские ищейки, уподобившись сенбернарам, выносили из бара самые дорогие напитки и раздавали их всем без разбора; в самом же баре фараоны и бунтари дружно горланили песни – вперемежку подрывные и охранительные. Я заглянул в подвал, но сцены покаяний, ласканий и искренних излияний так на меня подействовали, что я поспешил на пожарный пункт, где рассчитывал найти профессора Троттельрайнера. К моему удивлению, он тоже нашел трех партнеров и резался с ними в бридж. Доцент Кецалькоатль пошел с козырного туза; это так разгневало Троттельрайнера, что он бросил карты. Мы начали его успокаивать; в дверь заглянул Чарки и сообщил о речи генерала Акильо, только что переданной по радио: генерал грозил утопить бунт в крови обычной бомбардировкой города. После недолгого совещания мы решили отступить на самый нижний, канализационный ярус «Хилтона», располагавшийся под бомбоубежищем.

Кухня отеля лежала в руинах, и есть было нечего; проголодавшиеся филуменисты, издатели и бунтари набивали рты шоколадками, питательными смесями и желе, укрепляющими потенцию, – все это они нашли в опустевшем Centro erotico. Я видел, как менялись их лица, когда пикантные сласти и любенцы смешивались в их крови с бенигнаторами, – о последствиях этой химической реакции страшно было подумать; видел братание футурологов с индейцами – чистильщиками ботинок, тайных агентов в объятиях горничных и уборщиц, сердечный альянс котов с огромными жирными крысами; вдобавок всех поголовно лизали полицейские псы. Мы медленно пробирались сквозь толпу; эта прогулка меня утомила, к тому же я шел замыкающим и нес половину резервных баллонов. Заласканный, зацелованный в руки и ноги, обожаемый, задыхающийся от рукопожатий и нежностей, я упорно пробивался вперед, пока наконец не раздался торжествующий клич Стэнтора: он нашел вход в канал! Собрав последние силы, мы сдвинули тяжелую крышку люка и один за другим спустились в бетонированный колодец. Профессор Троттельрайнер поскользнулся на ступеньке железной лестницы; я поддержал его и спросил, так ли он представлял себе этот конгресс. Вместо ответа он попытался поцеловать мне руку, что сразу пробудило у меня подозрения, и точно – оказалось, маска у него съехала, и профессор успел наглотаться воздуха, зараженного добротой. Мы незамедлительно применили

физические мучения, чистый кислород и чтение вслух реферата Хаякавы (это была идея Хаулера). Придя в себя – о чем свидетельствовал каскад сочных ругательств, – профессор последовал за остальными. Вскоре слабый луч фонарика уперся в масляные разводы на черной глади канала; мы несказанно обрадовались: целых десять метров земли отделяло нас от поверхности *бумбардируемого* города. Но как же мы удивились, обнаружив, что не мы первые подумали об этом убежище. На бетонной приступке восседала в полном составе дирекция «Хилтона»; рачительные менеджеры запаслись надувными креслами из гостиничного бассейна, транзисторами, батареями бутылок виски, швепса и множеством холодных закусок. Они тоже пользовались кислородными аппаратами, так что им и в голову не пришло бы поделиться хоть чем-нибудь с нами. Но мы приняли угрожающий вид, к тому же нас было больше, и это их убедило. В добром, хотя отчасти вынужденном, согласии мы принялись за разделку омаров; этим ужином, в программе не предусмотренным, завершился первый день футурологического конгресса.

* * *

Уставшие от волнений минувшего дня, мы готовились ко сну в обстановке более чем спартанской, если учесть, что спать предстояло на узкой бетонной полосе со всеми признаками ее канализационного назначения. Предстояло решить вопрос о честном дележе шести надувных кресел, которые прихватила с собой дирекция «Хилтона». Их хватило бы на двенадцать персон, ибо шестеро менеджеров согласились разделить свои спальные места с секретаршами; нас же, спустившихся в канал во главе со Стэнтором, было двадцать. Сюда входила футурологическая группа Дрингенбаума, Хейзлтона и Троттельрайнера, журналисты и комментаторы телекомпании Си-би-эс, а также двое присоединившихся по дороге: никому не известный плотный мужчина в кожаной куртке и бриджах и малютка Джо Коллинз, личная секретарша редактора «Плейбоя». Стэнтор намеревался воспользоваться ее химическим перерождением и уже по пути, как я слышал, договаривался с ней о праве на публикацию ее мемуаров. При таком множестве претендентов обстановка немедленно накалилась. Мы стояли по обе стороны вождеденных кресел, глядя друг на друга исподлобья; впрочем, в кислородных масках и нельзя было иначе. Кто-то предложил, чтобы все разом, по сигналу, сняли маски – тогда, наглотавшись как следует альтруизма, мы устранили бы самый предмет спора. Никто, однако, не спешил следовать этому совету. После долгих споров мы пришли к компромиссу, согласившись на жеребьевку и посменный трехчасовой сон; жребиями нам послужили купоны прелестных копуляционных книжечек (тех самых) – кое у кого они сохранились.

Мне выпало спать в первой смене с профессором Троттельрайнером, гораздо

более худым и даже костлявым, нежели мне того бы хотелось, раз уж мы делили с ним ложе (точнее, кресло). Вторая смена бесцеремонно растолкала нас и стала укладываться на наших местах, а мы примостились на коленках у самой воды, с тревогой следя за давлением кислорода в баллонах. Было ясно: запаса хватит на пару часов; перспектива очутиться в рабстве у добродетели казалась нам неизбежной и навевала мрачные мысли. Коллеги, зная, что я успел вкусить это блаженство, настойчиво расспрашивали меня о впечатлениях. Я уверял, что это не так уж плохо, – но без особого энтузиазма. Нас клонило ко сну; чтобы не свалиться в канал, мы привязались, кто чем мог, к железной лесенке под люком. Мою беспокойную дремоту прервало эхо взрыва, более сильного, чем все предыдущие. Я огляделся в полутьме (все фонарики, кроме одного, были предусмотрительно выключены). На бетонную дорожку вылезали громадные, толстые крысы. Удивительно было, что передвигались они гуськом и на задних лапах. Я ущипнул себя – вроде не сон. Разбудив профессора Троттельрайнера, я указал ему на этот странный феномен; он тоже опешил. Крысы ходили парами, вовсе не обращая на нас внимания; во всяком случае, они не собирались лизать нас, что профессор счел благоприятным симптомом – воздух скорее всего был чист.



Мы осторожно сняли маски. Оба репортера справа от нас спали как убитые, крысы по-прежнему прохаживались на задних лапах. Мы с профессором расчихались – защекотало в носу. Сперва я решил, что это из-за канализационных запахов, и тут увидел первые корешки. Нагнулся – об ошибке не могло быть и речи. Я пускал корешки чуть пониже коленей, а выше зазеленел. Теперь и руки покрывались почками. Почки росли на глазах, набухали и распускались, белесые, правда, как и положено подвальной растительности; я чувствовал: еще немного – и я начну плодоносить. Хотел обратиться за разъяснениями к Троттельрайнеру, но пришлось повисить голос, так громко я шелестел. Спящие тоже походили на подстриженную живую изгородь, усыпанную цветами, лиловыми и пурпурными. Крысы пощипывали листочки, поглаживали усы лапками и росли. Еще немного, подумал я, и можно будет их оседлать; как дерево, я тосковал по солнцу. Откуда-то издалека доносились мерные сотрясения, что-то осыпалось, гудело, эхо прокатывалось по коридорам, я покраснел, потом зазолотился и, наконец, стал ронять листья. Что, уже осень, удивился я, так скоро?

Но тогда пора собираться в поход; я вырвал корни из почвы и на всякий случай прислушался. Так и есть – труба зовет! Крыса с поводьями и под седлом – экземпляр исключительный даже для породистого скакуна – повернула голову и посмотрела из-под скошенных ресниц печальным взглядом профессора Троттельрайнера. Мне стало как-то не по себе: если это профессор, похожий на крысу, седлать его не годится, но если это всего лишь крыса, похожая на профессора, стесняться нечего. А труба звала! Я прыгнул на спину скакуна и свалился в канал. Зловонная ванна отрезвила меня.

Содрогаясь от омерзения, я вылез на бетонированную дорожку. Крысы нехотя потеснились. Они по-прежнему прогуливались на задних лапах. Ну конечно, мелькнуло у меня, галлюциногены! Если я считал себя деревом, почему бы им не принять себя за людей! Я вслепую искал кислородный аппарат: побыстрее бы надеть его! Нащупав маску, натянул ее на лицо, но все же вдыхал кислород с тревогой: откуда мне знать, настоящая это маска или только фантом?

В подвале вдруг посветлело. Я поднял голову и в открытом люке увидел сержанта американской армии – он протягивал мне руку.

– Скорее! – кричал он. – Скорее!

– Что, вертолеты прислали?! – вскочил я.

– Наверх, поторапливайся! – надсаживался он.

Остальные вскочили тоже. Я взобрался по лесенке.

– Наконец-то! – пыхтел подо мною Стэнтон.

Снаружи было светло от пожара. Я огляделся: никаких вертолетов, только

несколько солдат в боевых шлемах десантных частей подавали нам какую-то упряжь.

– Что это? – в недоумении спросил я.

– Живее, живее! – торопил сержант.

Солдаты начали меня запрягать. «Галлюцинация!» – решил я.

– Ничего подобного, – отозвался сержант, – это десантное снаряжение, индивидуальные мини-ракеты. Резервуар горючего в ранце. Держись за эту штуковину.

– Он сунул мне какую-то рукоятку, а стоявший за моей спиной десантник уже затягивал лямку. – Пошел!

Сержант хлопнул меня по спине и дотронулся до какой-то кнопки на моем ранце. Раздался резкий, протяжный свист, мои ноги окутал пар, а может быть, дым – он вырвался из сопла в ранце, – и я взлетел, словно перышко.

– Но мне же не справиться с управлением! – кричал я, свечой взмывая в черное небо, объятые грозным заревом.

– Разберешься! Азимут на По-ляр-ну-ю!!! – орал снизу сержант.



Я поглядел вниз. Подо мною пронеслась гигантская груда обломков – еще недавно она была гостиницей «Хилтон». Рядом с нею виднелась небольшая толпа, дальше огромным кольцом вздымались кроваво-красные языки пламени; на огненном фоне появилось черное круглое пятнышко – это стартовал с открытым зонтом Троттельрайнер. Я ощупал себя, проверяя, прочно ли держатся построжки и ремни.

Ранец булькал, пищал, свистел, пар из сопла все сильнее обжигал икры, я поджал ноги как только мог, потерял при этом устойчивость и целую минуту барахтался в воздухе, словно большущий, тяжелый жук. Потом, случайно задев рукоятку, должно быть, изменил угол выхлопа и сразу перешел на горизонтальный курс. Ощущение было довольно приятное; оно было бы еще приятней, знай я, куда лечу. Я поворачивал рукоятку, пытаюсь окинуть взглядом раскинувшийся подо мною простор. На огненном фоне чернели зубчатые руины домов. Голубые, зеленые, красные нити огня тянулись ко мне с земли, что-то просвистело возле ушей – да ведь это по мне стреляют! Ну скорей же, скорей! Я рванул рукоятку. Ранец харкнул, фыркнул, как неисправный паровоз, обжег мне кипятком ноги и дал такого пинка, что я кувырком полетел в черное, как деготь, пространство. Ветер свистел в ушах, я чувствовал, как из карманов вываливаются перочинный нож, бумажник и прочие мелочи, попытался нырнуть за ними, но потерял их из виду. Я был совершенно один, под далекими спокойными звездами и, не переставая шипеть, гудеть, свистеть, – летел. Попытался найти Полярную, чтобы выправить курс; когда мне это наконец удалось, ранец испустил дух, и я, набирая скорость, понесся к земле. На мое счастье, в последний момент – я уже различал ленту шоссе в дымке тумана, тени деревьев, какие-то крыши – ранец выплюнул последнюю порцию пара; я сбавил скорость и упал на траву довольно мягко.

Рядом, в канаве, кто-то стонал. Вот было бы удивительно, подумал я, окажись там профессор! Действительно, это был он. Я помог ему встать. Он ощупал себя в поисках очков; впрочем, сам он был совершенно цел. Троттельрайнер попросил помочь ему отстегнуть упряжь, потом уселся на ранце и достал что-то из бокового отделения – какие-то стальные трубки и колесо.

– А теперь ваш...

Из моего ранца он тоже извлек колесо, к чему-то приладил его и крикнул:

– По местам! Едем.

– Что такое? Куда? – удивился я.

– Тандемом. В Вашингтон, – коротко объяснил профессор; ногу он уже держал на педали.

«Галлюцинация!» – промелькнуло у меня.

– Вот еще! – возмутился профессор. – Обычное десантное снаряжение.

– Допустим. Но вам-то откуда все это известно? – спросил я, устраиваясь на заднем сиденье.

Профессор оттолкнулся, мы покатали сначала по траве, потом по асфальту.

– Я работаю в USAF⁴! – выкрикнул он, энергично перебирая ногами.

Насколько я помнил, между нами и Вашингтоном простирались Перу и Мексика, не говоря уже о Панаме.

– Мы не дотянем на велосипеде! – заорал я против ветра.

– Только до сборного пункта! – крикнул в ответ профессор.

Неужели он не был обычным футурологом, за которого себя выдавал? Ну и влип я в историю... И что мне там делать, в Вашингтоне? Я притормозил.

– Вы что? Шевелите ногами, коллега! – отчитывал меня Троттельрайнер, пригнувшись к рулю.

– Нет! Остановка. Я выхожу! – решительно возразил я.

Тандем вильнул и остановился. Профессор, упиравшись ногой в землю, издевательски указал на окружающую нас темноту:

– Как хотите. Бог в помощь!

Он уже отъезжал.

– Вашими молитвами! – бросил я ему вслед.

Красная искорка сигнального фонаря исчезла во тьме, а я, обескураженный, присел на дорожный столбик, чтобы обдумать положение. Что-то кололо меня выше колен. Я машинально протянул руку, нащупал какие-то ветки и начал обламывать их. Стало больно. Если это мои побеги, сказал я себе, тогда, несомненно, я все еще галлюцинирую! Я наклонился, чтобы проверить, – и вдруг меня ослепило. Из-за поворота блеснули серебряные фары, огромная тень машины притормозила, открылись дверцы. На приборном щитке горели зеленые, золотистые, синие огоньки индикаторов, матовый свет обволакивал стройные женские ноги в нейлоновых чулках, золотые туфельки-ящерицы покоились на педалях, темное лицо с пунцовыми губами склонилось ко мне, на пальцах, сжимавших баранку, сверкнули брильянты.

– Подвезти?

Я сел – и даже забыл о своих ростках, до того я был ошарашен. Украдкой провел по своим ногам ладонью – и нащупал чертополох.

– Что, уже? – слышался низкий чувственный голос.

– В каком смысле? – растерянно отозвался я.

Женщина пожала плечами. Мощный автомобиль рванулся, она нажала какую-то клавишу, кабина погрузилась во тьму, лишь навстречу нам мчалась освещенная полоса асфальта; из передней панели поплыла щелкающая мелодия. Странно как-то,

⁴ United States Air Force – Военно-воздушные силы США (англ.).

размышлял я. Что-то не то. Руки – не руки, ноги – не ноги. Правда, не ветки – чертополох, но все-таки, все-таки!

Я присмотрелся к незнакомке внимательнее. Она, несомненно, была красива – что-то в ней было манящее, демоническое и персиковое одновременно. Но вместо юбки торчали какие-то перья. Страусиные? Или это галлюцинация?.. С другой стороны, нынешняя женская мода... Я терялся в догадках. Шоссе было пусто; мы мчались так, что игла спидометра перегибалась через ограничитель шкалы. Чья-то рука вцепилась мне сзади в волосы. Я вздрогнул. Длинные острые ногти царапали мне затылок – не жестоко, а скорее игриво.

– Что это? Кто там? – Я хотел обернуться, но не смог. – Пустите!

Впереди показались огни, какой-то большой дом, под колесами захрустел гравий, машина резко свернула, прижалась к тротуару вплотную, остановилась.

Рука, все еще державшая меня за волосы, принадлежала другой незнакомке, одетой в черное, – бледной, стройной, в темных очках. Дверцы машины открылись.

– Где мы? – спросил я.

Не ответив, они взялись за меня: первая выталкивала из машины, вторая тащила наружу, стоя уже на тротуаре. Я вышел. В доме веселились, оттуда доносилась музыка, чьи-то пьяные крики; у стоянки золотом и пурпуром переливался фонтан, освещаемый из окна. Мои спутницы стиснули меня с двух сторон.

– Но мне некогда, – пробормотал я.

Они будто не слышали. Та, в черном, наклонилась и горячодохнула мне в ухо:

– Хо!

– Простите, что?

Мы были уже у дверей; их начал разбирать смех, и смеялись они не просто так, а надо мной. Все в них отталкивало меня; к тому же они становились все меньше. Приседали? Нет – ноги у них покрывались перьями. Ага, облегченно вздохнул я, все-таки, значит, галлюцинация!

– Какая еще галлюцинация, недотепа! – прыснула незнакомка в очках. Она подняла обшитую черным жемчугом сумочку и огрела меня прямо по темени. Я взвыл от боли.

– Поглядите-ка на этого галлюцинанта! – кричала другая.

Страшный удар обрушился на то же самое место. Я упал, закрывая руками голову. Открыл глаза. Надо мною склонился профессор с зонтом в руке. Я лежал на бетоне возле канала. Крысы как ни в чем не бывало ходили парочками.

– Где, где болит? – допытывался Троттельрайнер. – Здесь?

– Нет, здесь... – Я показал на вспухший затылок.

Взяв зонт за верхний конец, он врезал мне по больному месту.

– Спасите! – взмолился я. – Ради бога, довольно! За что...

– Это и есть спасение! – ответил безжалостно футуролог. – К сожалению, у меня под рукой нет другого противоядия!

– Но хотя бы не набалдашником, прошу вас!

– Так вернее...

Он ударил меня еще раз, повернулся и кого-то позвал. Я закрыл глаза. Голова невыносимо болела. Меня тряхнуло – профессор и мужчина в кожаной куртке, ухватив меня под мышки и под колена, куда-то несли.

– Куда?! – закричал я.

Щебенка сыпалась прямо в лицо с шатающихся перекрытий; я чувствовал, как мои санитары ступают по какой-то хлипкой доске или мостику, и боялся, что они поскользнутся. «Куда это мы?» – тихо спросил я. Никто не ответил. В воздухе стоял непрерывный гул. Стало светло от пожара, мы были уже на поверхности, какие-то люди в мундирах хватали подряд всех, кого удавалось вытащить из канализационного люка, и бесцеремонно швыряли в открытые дверцы – мелькнули огромные белые буквы: «US ARMY COPTER⁵ 1 109 849» – и я упал на носилки. Профессор Троттельрайнер просунул голову в вертолет.

– Простите, Тихий! – кричал он. – Тысячу извинений! Но так было нужно!

Кто-то, стоявший за ним, вырвал у него зонт, дважды крест-накрест огрел им профессора по макушке и пихнул его так, что футуролог со стоном упал между нами, – и тут же взвыли моторы, зашумели пропеллеры, машина торжественно воспарила ввысь.

Профессор пристроился рядом с моими носилками, осторожно поглаживая затылок. Не могу не признаться: понимая все благородство его поведения, я, однако, с удовольствием наблюдал, как на темени у него вырастает громадная шишка.

– Куда мы летим?

– На конгресс, – ответил, все еще морщась от боли, профессор.

– То есть... как это на конгресс? Ведь конгресс уже был?

— Вмешательство Вашингтона, – коротко объяснил Троттельрайнер. – Будем продолжать заседания.

– Где?

– В Беркли.

– В университете?

⁵ Вертолет армии США (англ.).

– Да. Может, у вас найдется какой-нибудь нож, хоть перочинный?

– Нет.

Вертолет задрожал. Гром и пламя распорили кабину, мы вылетели из нее друг за другом – в бескрайнюю темноту. Как долго я потом мучился! Мне слышались стонущие голоса сирен, мою одежду разрезали ножом, я терял сознание и вновь приходил в себя. Меня трясла лихорадка и ухабистая дорога, над головой белел потолок «скорой помощи», рядом лежало что-то продолговатое, забинтованное, как мумия; по притороченному сбоку зонту я узнал Троттельрайнера. «Я жив... – пронеслось у меня в голове. – Все-таки мы не разбились насмерть. Какое счастье». Машина вдруг накренилась, перевернулась с пронзительным скрежетом, пламя и гром разорвали жестянку кузова. «Что, опять?» – сверкнула последняя мысль, а потом – черное, непроницаемое беспмятство. Открыв глаза, я увидел над собою стеклянный купол; какие-то люди в белом, с масками на лицах и руках, воздетыми как для благословения, переговаривались полушепотом.

– Да, это был Тихий, – донеслось до меня. – Сюда, в банку, нет, только мозг, остальное никуда не годится. Дайте пока наркоз.

Кусочек ваты на никелевом диске заслонил мне весь свет, я хотел закричать, позвать на помощь, вместо этого вдохнул глоток жгучего газа и растворился в небытии. Когда сознание вернулось ко мне, я не мог разлепить веки, не чувствовал ни рук, ни ног, словно в параличе. И все же пытался пошевелиться, несмотря на боль во всем теле.

– Успокойтесь! Не шевелитесь, пожалуйста! – услышал я мелодичный женский голос.

– А? Где я? Что со мной?.. – пролепетал я. Рот у меня был совершенно чужой, и лицо, наверное, тоже.

– Вы в санатории. Все хорошо. Не волнуйтесь, прошу вас. Сейчас мы дадим вам поесть...

«Да мне же нечем...» – хотел, но не смог я ответить. Послышалось лязганье ножниц. Марля кусками спадала с лица. Стало светлей. Два санитаря (я удивился их громадному росту) крепко, но бережно взяли меня под мышки, приподняли и усадили в кресло-коляску. Передо мной дымилась тарелка аппетитного с виду бульона. Я машинально потянулся за ложкой и заметил, что взявшая ложку рука – маленькая и черная, как эбонит. Я поднес ее поближе к глазам. Судя по тому, что я владел ею совершенно свободно, это была моя рука. Но как же она изменилась! Желая узнать, в чем дело, я привстал и увидел зеркало на противоположной стене. Там, в кресле-коляске, сидела молодая хорошенькая негритянка, вся забинтованная, в пижаме, с ошеломленным выражением лица. Я дотронулся до своего носа. То же самое сделало

отражение в зеркале. Тогда я начал ощупывать лицо, шею, плечи, наткнулся на бюст и испуганно вскрикнул – не своим, тоненьким голосом:

– Боже праведный!

Медсестра кого-то отчитывала: почему не занавесили зеркало? Потом обратилась ко мне:

– Вы Ийон Тихий, не так ли?

– Ну да. То есть – да! да!!! Но что это значит? Вон та девушка – та негритянка?

– Трансплантация. Другого выхода не было. Речь шла о спасении вашей жизни – то есть вашего мозга! – быстро, но отчетливо говорила сестра, взяв меня за руки.

Я закрыл глаза. Снова открыл. Мне сделалось дурно. Вошел хирург; его лицо выражало крайнюю степень негодования.

– Это еще что такое! – загремел он. – Только шока ему не хватало!

– Он уже в шоке! – сообщила сестра. – Это все Симмонс, господин профессор. Говорила я ему: занавесь зеркало!

– В шоке? Так чего же вы ждете? В операционную! – распорядился хирург.

– Нет! Больше не надо! – закричал я.

Никто не обращал внимания на мой девичий писк. Белая марля закрыла глаза и лицо. Попробовал вырваться – куда там. Я слышал и чувствовал, как плавно катится кресло по плитам пола. Раздался ужасающий грохот, с резким треском лопались какие-то стекла. Больничный коридор наполнили гром и пламя.



– Экстремисты! Экстремисты! – надрывался кто-то, стекло хрустело под ботинками убегающих, я хотел сорвать с себя ненавистную марлю, не смог, почувствовал острую боль в боку и потерял сознание.

Очнулся я в киселе. Кисель был клюквенный, определенно недослащенный. Я лежал вниз лицом, сверху давило что-то большое и мягкое. Я сбросил с себя тяжесть, оказалось – матрац. Битый кирпич больно впивался в колени и кожу ладоней. Выплювая клюквенные зернышки и кирпичную крошку, я приподнялся на локтях. Палата выглядела как после взрыва. Шторы оборваны, уцелевшие осколки оконных стекол наклонены внутрь, кровать повалена на бок, ее сетка опалена. Рядом со мной лежал запачканный в киселе листок с печатным текстом. Я пробежал его глазами.

«Дорогой Пациент _____ (имя, фамилия)! Ты находишься в экспериментальной клинике нашего штата. Операция, сохранившая Тебе жизнь, оказалась серьезной – очень серьезной (ненужное зачеркнуть). Лучшие наши хирурги, используя последние достижения медицины, сделали Тебе одну – две – три – четыре – пять – шесть – семь – восемь – девять – десять (ненужное зачеркнуть) операций. Ради Твоего блага они были вынуждены заменить отдельные части Твоего тела органами, взятыми у других лиц, в соответствии с федеральным законом, одобренным обеими палатами конгресса („Законодат. вестн.“, публ. № 1 989/0001/89/1). Дружеское наставление, которое Ты в настоящую минуту читаешь, поможет Тебе адаптироваться к новым условиям Твоей жизни. Мы спасли ее, но при этом нам пришлось изъять у Тебя руки, ноги, позвоночник, череп, лопатки, желудок, почки, печень, прочие органы (ненужное зачеркнуть). За судьбу вышеуказанных бренных останков Ты можешь быть совершенно спокоен: мы позаботились о них, как велит Твоя вера, и согласно ее традициям совершили обряд погребения, кремации, мумификации, рассеивания праха по ветру, наполнения урны пеплом, освящения, высыпки в помойную яму (ненужное зачеркнуть). Новый облик, в котором отныне Тебе предстоит вести счастливую и здоровую жизнь, кое в чем может оказаться для Тебя неожиданным, но мы заверяем Тебя, что, подобно нашим остальным дорогим пациентам, Ты к нему быстро привыкнешь. Мы усовершенствовали Твой организм при помощи наилучших – полноценных – удовлетворительных – таких, какие нашлись под рукой, органов (ненужное зачеркнуть). Мы гарантируем работу указанных органов в течение одного года, шести месяцев, квартала, трех недель, шести дней (ненужное зачеркнуть). Ты должен понять, что...»

На этом текст обрывался. Лишь теперь я заметил, что сверху кто-то вывел четкими буквами: «ИЙОН ТИХИЙ. Опер. 6, 7 и 8. КОМПЛЕКТ». Листок в моих руках задрожал. Боже, что от меня осталось? Я не решался взглянуть даже на собственный палец. Тыльная сторона ладони заросла толстыми рыжими волосками. Я затрясся как в лихорадке; встал, опираясь о стену; перед глазами плыло. Бюста не было, и то слава богу. Стояла полная тишина. Какая-то птичка чирикала за окном. Нашла тоже время чирикать! КОМПЛЕКТ. Что значит КОМПЛЕКТ? Кто я? Ийон Тихий. В этом я был уверен. Следовательно? Сперва я ощупал ноги. Обе на месте, только кривые – буквой «икс». Живот – непомерно велик. Палец погрузился в пупок, как в колодец. Толстые складки жира – брр! Что же случилось? Ага, вертолет. Кажется, его сбили. «Скорая помощь». Мина, а может, граната. Потом – та маленькая негритянка – потом экстремисты – в коридоре – гранаты? Выходит, ее тоже, бедняжку?.. И еще раз. Но что означает этот погром, эти обломки?

– Эй! Есть тут кто-нибудь?! – закричал я.

И осекся, пораженный собственным голосом, – настоящий оперный бас, даже эхо отозвалось. Очень хотелось глянуть в зеркало, но было страшно. Я поднес руку к щеке. Боже милостивый! Кудлатые, свалаявшиеся патлы... Наклонившись, увидел бороду. Она закрывала половину пижамы – растрепанная, косматая, рыжая. Ахенобарбарус! Рыжебородый! Ладно, можно побриться... Я выглянул на террасу. Птичка чирикала как ни в чем не бывало – дура. Тополя, сикоморы, кусты – что это? Сад. Больничный? На скамейке кто-то грелся в лучах солнца, закатав рукава пижамы.

– Эй там! – позвал я.

Он обернулся. Я увидел до странности знакомое лицо и растерянно заморгал. Да ведь это мое лицо, это я! В три прыжка я выскочил на террасу. Тяжело дыша, всматривался в собственные черты. Сомнений не было: на скамье сидел я!

– Чего вы так уставились? – неуверенно отозвался он моим голосом.

– Откуда это – у вас? – через силу выдавил я. – Кто вы? Кто дал вам право...

– А-а! Это вы!

Он встал:

– Перед вами профессор Троттельрайнер.

– Но почему же... Бога ради, почему... кто...

– Я тут совершенно ни при чем, – произнес он внушительно. Мои губы на его лице подрагивали. – Ворвались сюда эти, как их – йиппи⁶. Бунтари. Граната. Ваше состояние было признано безнадежным, да и мое тоже. Я ведь лежал рядом, в соседней палате.

⁶ Члены молодежной радикальной группировки в США.

– Как это «безнадежным»! – возмутился я. – Что я, слепой? И как вы только могли!

– Но я ведь был без сознания, уверяю вас! Главный хирург, доктор Фишер, мне все объяснил: сперва брали тела и органы в хорошей сохранности, а когда очередь дошла до меня, остались одни отходы, поэтому...

– Да как вы смеете! Присвоили мое тело да еще охаиваете его!

– Не охаиваю, а лишь повторяю слова доктора Фишера! Сначала вот это, – он ткнул себя пальцем в грудь, – сочли непригодным, но потом, за неимением лучшего, решились на пересадку. Вы к тому времени были уже пересажены...

– Я? Пересажен?

– Ну да. Ваш мозг.

– А это кто? То есть кто это был? – указал я на себя.

– Один из тех экстремистов. Какой-то их главарь, говорят. Не умел обращаться со взрывателем, и его садануло в череп осколком – так я слышал. Ну и... – Троттельрайнер пожал моими плечами.

Меня передернуло. В этом теле мне было не по себе, я не знал, как к нему относиться. Оно мне претило. Ногти толстые, квадратные – ни малейших признаков интеллигентности.

– Что же будет? – прошептал я, опускаясь на скамью рядом с профессором. Ноги меня не слушались. – Нет ли у вас карманного зеркальца?

Он достал зеркальце из кармана. Я торопливо схватил его и увидел огромный подбитый глаз, пористый нос, зубы в плачевнейшем состоянии; нижняя часть лица утопала в рыжей густой бороде, за которой угадывался двойной подбородок. Возвращая зеркальце, я заметил, что профессор снова выставил оголенные ноги на солнце. Хотел было сказать, что кожа у меня чрезвычайно чувствительная, но прикусил язык. Обгорит на солнце до волдырей – его дело; теперь уж, во всяком случае, не мое!

– Куда мне идти? – спросил я потерянно.

Троттельрайнер оживился. Его (его?!) умные глаза с сочувствием остановились на моем (моем?!) лице.

– Не советую идти куда бы то ни было! Того типа разыскивали ФБР и полиция штата за серию покушений. Объявления о розыске на каждом углу; приказано стрелять без предупреждения!

Я вздрогнул. Только этого еще не хватало. Боже мой, опять, наверное, галлюцинация.

– Да что вы! – живо возразил Троттельрайнер. – Явь, дорогой мой, самая настоящая явь!

– А почему больница пуста?

– Так вы не знаете? Ах да, вы же потеряли сознание... Забастовка.

– Врачей?

– Да. Всего персонала. Экстремисты похитили доктора Фишера. А взамен требуют выдать им вас.

– Выдать меня?

– Ну да, они ведь не знают, что вы, так сказать, больше не вы, а Ийон Тихий...

Голова у меня шла кругом.

– Я покончу с собой! – заявил я хриплым басом.

– Не советую. Чтобы вас снова пересадили?

Я лихорадочно соображал, как узнать, галлюцинация это или нет.

– А если бы... – сказал я, вставая.

– Что?

– Если бы я на вас прокатился? А? Что скажете?

– Про... что? Вы, верно, спятили?

Я смерил его взглядом, весь подобрался, прыгнул и свалился в канал. И хотя я чуть не захлебнулся черной вонючей жижей – какое это было облегчение! Я вылез на берег; крыс поубавилось – должно быть, разбрелись кто куда. Остались всего четыре. Они играли в бридж у самых ног крепко спящего Троттельрайнера – его картами. Я ужаснулся. Даже если учесть небывалую концентрацию галлюциногенов – возможно ли, чтобы крысы в самом деле играли в бридж? Я заглянул в карты самой жирной. Она метала их как придется. Какой уж там бридж! Ну и слава богу... Я облегченно вздохнул.

На всякий случай я твердо решил ни на шаг не отходить от канала: всевозможные варианты спасения успели мне надоеть, во всяком случае, на ближайшее время. Сперва пусть дадут гарантии. А то опять привидится невесть что. Я ощупал лицо. Ни бороды, ни маски. Куда она подевалась?

– Что касается меня, – произнес профессор, не открывая глаз, – я порядочная девушка и надеюсь, вы будете вести себя должным образом. – Он приложил ладонь к уху, как бы выслушивая ответ, и добавил: – О нет, я вовсе не притворяюсь невинной, чтобы разжечь ваше пресыщенное сладострастие, а говорю чистую правду. Не прикасайтесь ко мне, иначе я буду вынуждена лишиться себя жизни.

«Ага, – догадался я, – похоже, и этот не прочь искупаться в канале!» Теперь я слушал профессора спокойнее: его галлюцинации вроде бы подтверждали, что я-то, по крайней мере, в полном порядке.

– Спеть я могу – отчего бы не спеть, – произнес между тем профессор, – скромная песенка еще ни к чему не обязывает. Вы мне будете аккомпанировать?

Но может быть, он просто разговаривает во сне; в таком случае опять ничего не известно. Оседлать его ради пробы? Но прыгнуть в канал я мог и без его помощи.

– Я сегодня не в голосе. Да и мама меня заждалась. Не провожайте меня! – категорически заявил Троттельрайнер.



Я встал и посветил фонариком по сторонам. Крысы исчезли. Швейцарские футурологи храпели, лежа вповалку у самой стены. Рядом, на надувных креслах, лежали репортеры вперемешку с администрацией «Хилтона». Кругом валялись обглоданные куриные косточки и банки из-под пива. Если это галлюцинация, то удивительно реалистичная, сказал я себе. И все же мне хотелось убедиться в обратном. Право, лучше вернуться в окончательную и бесповоротную явь. Интересно, как там наверху?

Взрывы бомб – или бумб — раздавались нечасто и приглушенно. Неподалеку послышался громкий всплеск. Над черной водой канала показалось перекосившееся лицо Троттельрайнера. Я подал ему руку. Он вылез на берег и отряхнулся.

– Ну и сон же я видел...

– Девичий, да? – нехотя бросил я.

– Черт побери! Значит, я все еще галлюцинирую?!

– Почему вы так думаете?

– Только при галлюцинациях другие знают, что нам снится.

– Просто вы говорили во сне, – объяснил я. – Профессор, вы по этой части

специалист – нет ли надежного способа отличить явь от галлюцинации?

– Я всегда ношу при себе отрезвин. Упаковка, правда, промокла, но это ничего. Он позволяет выйти из состояния помрачения, устраняет бредовые, призрачные и кошмарные видения. Хотите?

– Возможно, ваш препарат так и действует, – хмыкнул я, – но вряд ли так действует фантом вашего препарата.

– Если мы галлюцинируем, то очнемся, а если нет, решительно ничего не случится, – заверил меня профессор и положил себе в рот бледно-розовую таблетку.

Я тоже извлек таблетку из мокрого пакета и проглотил ее. Над нами грохнула крышка люка, и голова в шлеме десантных войск рывкнула:

– Живо наверх! Давай торопись, подымайся!

– Вертолеты или мини-ракеты? – понимающе спросил я. – А по мне, господин сержант, идите куда подальше.

И я уселся под стеной, скрестив руки на груди.

– Свихнулся? – деловито спросил сержант у Троттельрайнера, который уже взбирался по лесенке. Люди в подвале зашевелились. Стэнтор попытался приподнять меня за плечи, но я оттолкнул его руку.

– Предпочитаете остаться? Ради бога...

– Нет, не так. «Бог в помощь!» – поправил я его.

Один за другим они исчезали в открытом люке; я видел вспышки огня, слышал команды десантников, по приглушенному свисту догадывался о запуске очередной мини-ракеты. «Странно, – размышлял я. – Что это, собственно, значит? А может, я галлюцинирую за них! *Per procura?*⁷ И что, теперь мне торчать здесь до Судного дня?»

И все же я не двигался с места. Люк захлопнулся, я остался один. Фонарик стоял торчком на бетоне; тусклый круг света, отраженный от сводчатого потолка, освещал подвал. Прошли две крысы со сплетенными хвостами. Это что-нибудь да значит, подумал я, но лучше не ломать голову попусту.

В канале послышались всплески. Ну, ну, чья теперь очередь? Клейкая поверхность воды расступилась, из нее вынырнули пять отливающих чернотой силуэтов – водолазы в очках, кислородных масках и с автоматами. Один за другим они выскакивали на бетон и направлялись ко мне, по-лягушачьи хлюпая ластами.

– *Habla usted español?*⁸ – обратился ко мне первый из них, стягивая с головы маску. Лицо у него было смуглое, с усиками.

⁷ Здесь: по доверенности (лат.).

⁸ Вы говорите по-испански? (исп.)

– Нет, – ответил я. – Но вы наверняка говорите по-английски? Так ведь?

– Какой-то нахальный гринго, – бросил тот, с усиками, второму. Все, как по команде, сдернули маски и взяли меня на мушку.

– Что, в канал? – спросил я с готовностью.

– К стенке! Руки вверх, да повыше.

Дуло уперлось мне под ребро. «Ну до чего же подробная галлюцинация, – подумал я, – даже автоматы обернуты в полиэтиленовые мешки, чтоб не промокли».

– Их тут больше пряталось, – заметил водолаз с усиками, обращаясь к соседу, плотному и черноволосому, который пытался зажечь сигарету. Видно, он-то и был у них главный. Они осмотрели наше кочевье, с грохотом пиная банки из-под консервов и опрокидывая надувные кресла; наконец офицер спросил:

— Оружие?

– Обыскал, господин капитан. Нету.

– Можно опустить руки? – спросил я, по-прежнему стоя у стены. – А то затекли уже.

– Сейчас навсегда опустишь. Прикончить?

– Ага, – кивнул офицер, выпуская дым из ноздрей. – Хотя нет! Отставить! – скомандовал он.

Покачивая бедрами, он подошел ко мне. На ремне у него болталась связка золотых колец. «Удивительно реалистично!» – подумал я.

– Где остальные? – спросил офицер.

– Вы меня спрашиваете? Выгаллюцинировали через люк. Да вы и так знаете.

– Чокнутый, господин капитан. Пусть уж лучше не мучается, – сказал тот, с усиками, и взвел спусковой крючок через полиэтиленовую оболочку.

– Не так, – остановил его офицер. – Продырявишь мешок, дурень, а где взять другой? Ножом его.

– Извините, что вмешиваюсь, – заметил я, немного опустив руки, – но мне все же хотелось бы пулю.

– У кого есть нож?

Начались поиски. «Разумеется, ножа у них не окажется! – размышлял я. – А то все кончилось бы слишком быстро». Офицер



бросил окурок на бетон, с гримасой отвращения раздавил его ластой, сплюнул и приказал:

– В расход его. Пошли.

– Да, да, пожалуйста! – торопливо поддакнул я.

Это их удивило. Они подошли ко мне.

– На тот свет торопишься, гринго? С чего бы? Ишь как упрашивает, каналья! А может, пальцы ему отрезать и нос? – переговаривались они.

– Нет-нет! Прошу вас, господа, сразу, без жалости, смело! – ободрял я их.

– Под воду! – скомандовал офицер.

Они опять натянули на себя маски; офицер отстегнул верхний ремень, достал из внутреннего кармана плоский револьвер, дунул в ствол, подбросил оружие, как ковбой в заурядном вестерне, и выстрелил мне в спину. Нестерпимая боль пронзила грудную клетку. Я начал сползать по стене; он схватил меня сзади за плечи, повернул лицом к себе и выстрелил еще раз, с такого близкого расстояния, что вспышка ослепила меня. Звука я уже не услышал. Потом была кромешная тьма, я задыхался – долго, очень долго, что-то тормозило меня, подбрасывало, хорошо бы, не «скорая помощь» и не вертолет, думал я; окружающий мрак стал еще чернее, наконец эта тьма растворилась, и не осталось совсем ничего.

Когда я открыл глаза, то увидел, что сижу на аккуратно застланной кровати, в комнате с низким окном; стекло было замазано белой краской. Я тупо уставился на дверь, словно ожидая кого-то. Я понятия не имел, где я и как я здесь очутился. На ногах у меня были туфли на плоской деревянной подошве, на теле – пижама в полоску. «Слава богу, хоть что-то новенькое, – подумалось мне, – хотя, похоже, ничего интересного на этот раз не предвидится». Дверь распахнулась. В дверном проеме стоял, окруженный молодыми людьми в больничных халатах, приземистый бородач. На нем были золотые очки, седеющая шевелюра торчала ежиком. В руке он держал резиновый молоток.

– Любопытный случай, – произнес бородач. – Удивительно любопытный, почтеннейшие коллеги. Четыре месяца назад наш пациент отравился значительной дозой галлюциногенов. Их действие давно прекратилось, но он не может в это поверить и продолжает считать все окружающее галлюцинацией. В своем помрачении он зашел так далеко, что сам просил солдат генерала Диаса, бежавших по каналам из занятого мятежниками президентского дворца, расстрелять его. Смерть, думал он, на самом деле окажется пробуждением от бредовых видений. Его удалось спасти благодаря трем сложнейшим операциям – из желудочков сердца мы извлекли две пули, – а он не верит, что живет наяву.

– Это шизофрения? – пропищала маленькая студентка. Она не смогла протиснуться к моей кровати и вытягивала шею за спинами товарищей.

– Нет. Это новая разновидность реактивного психоза, связанного, несомненно, с применением галлюциногенов. Случай абсолютно безнадежный – до такой степени, что мы решили витрифицировать пациента.

– В самом деле, профессор?! – Студентка не находила себе места от любопытства.

– Да. Как вам известно, безнадежных больных теперь можно замораживать в жидком азоте на срок от сорока до семидесяти лет. Пациента помещают в герметичный контейнер – наподобие сосуда Дьюара – вместе с подробной историей болезни; по мере появления новых открытий, в азотных хранилищах проводят переучет и тех, кому можно помочь, воскрешают.

– Скажите, вы сами дали согласие на витрификацию? – спросила меня студентка, просунув голову между двумя высокими практикантами. Ее глаза горели исследовательским энтузиазмом.

– С привидениями не разговариваю, – отрезал я. – Самое большее, могу сказать, как вас зовут: Галлюцина.

Прежде чем дверь за ними закрылась, я успел услышать голос студентки: «Ледяной сон! Витрификация! Да это же путешествие во времени, ах, до чего романтично!» Я был иного мнения, но что мне оставалось, кроме как подчиниться иллюзорной действительности?

На другой день вечером два санитары доставили меня в операционную. Здесь стояла стеклянная ванна, над ней поднимался пар – такой ледяной, что перехватывало дыхание. Мне сделали множество уколов, уложили на операционный стол и напоили через трубочку сладковатой прозрачной жидкостью – глицерином, как объяснил старший санитар. Он хорошо ко мне относился. Я называл его Галлюцианом. Когда я уже засыпал, он наклонился, чтобы еще раз крикнуть мне в ухо: «Счастливого пробуждения!»

Я не мог ответить, не мог даже пальцем пошевелить. Все это время – долгие недели! – я боялся, что они чересчур поспешат и опустят меня в ванну раньше, чем я потеряю сознание. Как видно, они все же поторопились – последним звуком, донесшимся до меня из этого мира, был всплеск, с которым мое тело погрузилось в жидкий азот. Неприятный, скажу я вам, звук.

* * *

Ничего.

* * *

Ничего.

* * *

Ничего, ну, совсем ничего.

* * *

Показалось, что-то есть, да где там. Ничего.

* * *

Нет ничего – и меня тоже.

* * *

Ну, долго еще? Ничего.

* * *

Вроде бы что-то, хотя кто его знает. Нужно сосредоточиться.

* * *

Что-то есть, но очень уж этого мало. При других обстоятельствах я решил бы, что ничего.

* * *

Ледники, голубые и белые. Всё изо льда. Я тоже.



* * *

Красивые эти ледники, вот только бы не было так дьявольски холодно.

* * *

Ледяные иголки и кристаллики снега. Арктика. Льдинки во рту. А в костях? Костный мозг? Какой там мозг – чистый, прозрачный лед. Холодный и жесткий.

* * *

Ледышка – это я. Но что значит «я»? Вот вопрос.

* * *

В жизни не было мне так холодно. Хорошо еще – неизвестно, что значит «мне». Кому это – мне? Леднику? Разве у айсбергов есть дырки?

* * *

Я – парниковая цветная капуста под солнцем. Весна! Все уже тает. Особенно я. Во рту – сосулька или язык.

* * *

Все-таки это язык. Мучат меня, катают, ломают, трут и даже, кажется, бьют. Я укрыт прозрачной пленкой, надо мной – лампы. Вот откуда взялись тот парник и капуста. Бредил, должно быть. Вокруг белым-бело, но это не снег, а стены.

* * *

Меня разморозили. Из благодарности буду вести дневник – сразу, как только смогу удержать перо в окоченевшей руке. В глазах все еще ледяные радуги и яркосиние вспышки. Холод адский, но понемногу все-таки согреваюсь.

27.VII. Говорят, реанимировали меня три недели. Были какие-то трудности. Пишу, сидя в кровати. Комната днем большая, вечером маленькая. Ухаживают за мной милые девушки в серебристых масках. Некоторые без грудей. То ли в глазах у меня двоится, то ли у главврача две головы. Еда самая обыкновенная – манная каша, яблочный пирог, молоко, овсяные хлопья, бифштекс. Лук чуть-чуть подгорел. Ледники мне уже только снятся, но с постоянством кошмара. Замерзаю, индевею, обледеневаю, весь заснеженный и скрипучий с вечера до утра. Ни грелки, ни компрессы не помогают. Лучше всего спирт перед сном.

28.VII. Безгрудые девушки – это студенты. По другим признакам мужчину от женщины не отличишь. Все тут рослые, красивые, улыбаются. А я слаб, по-детски капризен, все меня раздражает. Сегодня после уколов вогнал иглу в зад старшей сестре, а та даже улыбаться не перестала. Временами как будто плыву на льдине – то есть кровати. На потолке мне показывают, как на экране, зайчиков, муравьишек, жучков, паучков. Зачем? Получаю газету для малышей. Ошибка?

29.VII. Быстро устаю. Но уже знаю, что раньше, в начале оттаивания, бредил. Говорят, так и должно быть. Нормальный симптом. Пришельцев из минувших эпох с

новой жизнью знакомят не сразу. Это как извлечение водолаза с морского дна: с большой глубины его не поднять в один прием. Точно так же размороженца (первое новое слово, которое я узнал) вводят в незнакомый мир постепенно. Сейчас 2039 год. Лето, июль, погода прекрасная. У моей постели дежурит сестра по имени Эйлин Роджерс, голубоглазая, двадцати трех лет. Я появился на свет вторично в ревитарии под Нью-Йорком. Или в воскресильне – так теперь говорят. Это целый город, весь в садах. Собственные мельницы, пекарни, типографии. Ведь теперь уже нет ни пшеницы, ни книг. Однако есть хлеб, сливки для кофе и творог. Не от коровы? Эйлин думала, что корова – это такая машина. Никак не могу объяснить ей. Откуда у вас молоко? Из травы. Ясно, что из травы, но кто ее жует, чтобы дать молоко? Никто не жует. А откуда молоко? Из травы. Само? Само из нее берется? Не само. То есть не совсем само. Нужно ему помочь. Помогает корова? Нет. Значит, другое животное? О нет, не животное. Так откуда же молоко? И так далее, без конца.



30.VII.2039. Очень просто – чем-то поливают луга, и от солнечных лучей из травы образуется творог. Про молоко еще не узнал. Но это, в конце концов, не главное. Начинаю вставать – и на кресло-коляску. Сегодня был у пруда – лебедей множество. Очень послушные, стоит позвать – подплывают. Дрессированные? Да нет, телеупы. Что, что? Телеуправляемые. Странно. Натуральных птиц уже нет, вымерли в начале XXI века – от смога. Это, по крайней мере, понятно.

31.VII.2039. Хожу на уроки современной жизни. Ведет их компьютер. На некоторые вопросы не отвечает. «После узнаешь». Уже тридцать лет на Земле прочный мир благодаря всеобщему разоружению. Военных почти не осталось. Компьютер

показывал мне модели роботов. Их много, и самых разных, но только не в ревитарии – чтобы не пугать размороженцев. Достигнуто всеобщее благоденствие. То, о чем я спрашиваю, не самое важное, считает мой электронный наставник. Уроки проходят в небольшой кабине, перед пультом управления. Слова, картинки и трехмерные проекции.

5.VIII.2039. Через четыре дня выхожу из ревитария. На Земле уже 29.5 миллиарда людей. Государства и границы остались, но конфликты исчезли. Сегодня узнал о главном различии между новыми людьми и прежними. Основным понятием стала психимия. Мы живем в псивилизации. Слово «психический» вышло из употребления – вместо него говорят «психимический». Если верить компьютеру, человечество раздирали противоречия между старым, унаследованным от животных, и новым мозгом. Старый мозг – инстинктивный, иррациональный, эгоцентричный и страшно упрямый. Новое тянуло сюда, старое – туда. Мне еще трудно формулировать сложные мысли. Старое все время боролось с новым. То есть новое со старым. Психимия положила конец этой борьбе, понапрасну поглощавшей умственную энергию. Психимикаты делают со старым мозгом все, что нужно: примиряют, убеждают, гармонизируют – изнутри, по-хорошему. Естественным чувствам не доверяют – они считаются неприличными. Просто надо принять препарат, подходящий к данному случаю, а тот уж поможет, поддержит, направит, утешит и успокоит. Да это, в сущности, и не препарат, а часть меня самого, как очки, без которых близорукому не обойтись. Такие уроки меня тревожат – я боюсь контакта с новыми людьми. Психимикаты глотать не хочу. У меня, замечает наставник, типичные и вполне понятные предубеждения. Пещерный человек тоже содрогнулся бы при виде трамвая.

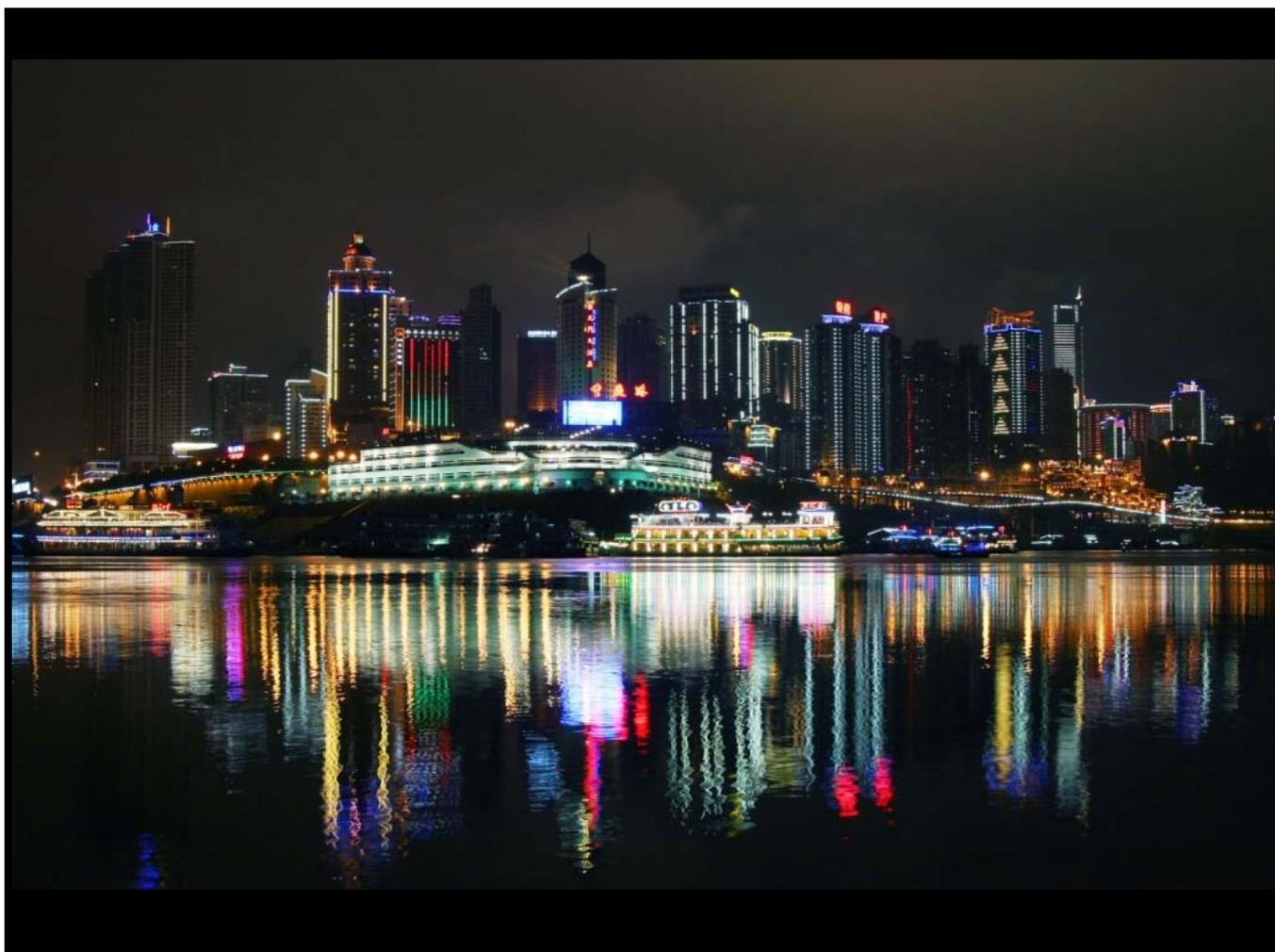


8.VIII.2039. Ездил с медсестрой в Нью-Йорк. Зеленый гигант! Высота, на которой плывут облака, регулируется. Воздух прямо лесной. Прохожие одеты пестро, как попугаи, но выглядят достойно, друг к другу доброжелательны, улыбаются. Никто никуда не спешит. Женская мода, как всегда, малость шальная: на лбах живые картинки, из ушей свисают красные язычки или пуговицы. Кроме натуральных рук можно иметь детали – добавочные, пристежные руки (и прочие органы). Руки эти мало на что годятся, но и для них находится дело – поддержать что-нибудь, открыть двери, почесать между лопатками. Завтра выхожу из ревитария. В Америке их чуть ли не двести, и все-таки график размораживания массы людей, которые когда-то доверчиво погрузились в азот, трещит по всем швам. Из-за длинных застывших очередей приходится ускорять процедуру оттаивания. Мне это очень понятно. В банке на мое имя есть счет, так что поисками работы можно будет заняться после Нового года. Оказывается, каждый замороженный имеет сберкнижку; по воскрешении вклад размораживается.

9.VIII.2039. Вот и настал долгожданный день. У меня уже есть трехкомнатная квартирка в Манхэттене. Терикоптером прямо из ревитария. Теперь говорят очень кратко: «терикать» и «коптать». Смысла этих глаголов я не улавливаю. Нью-Йорк из мусорной свалки, забитой автомобилями, превратился в цветущий многоярусный сад. Солнечный свет подается по солнцепроводам (соледукам). А какие здесь дети – неизбалованные, послушные! В мое время такие встречались разве что в назидательных книжках. На углу моей улицы – Бюро регистрации ученых-самородков, претендующих на Нобелевскую премию. Рядом художественные салоны, в которых за бесценок продаются шедевры – только оригиналы, с гарантией подлинности; есть даже Рембрандт и Матисс! В цокольной части моего небоскреба – школа пневматических мини-компьютеров. Иногда оттуда доносится (через вентиляционные шахты?) их шипение и сопение. Пневмокомпьютеры служат, в частности, для оживления чучел любимых собак. Мне это кажется жутковатым, но ведь люди вроде меня составляют здесь ничтожное меньшинство. Много хожу по городу. Уже научился водить гнак. Это нетрудно. Купил себе куртку – спереди белая, сзади малиновая, по бокам серебристая, с малиновой лентой и воротником, вышитым золотом. Ничего менее яркого не нашлось. Можно носить одежду меняющегося фасона и цвета; платье, которое съезживается под мужским взглядом или, наоборот – распускается перед сном, как цветок; брюки и блузки с подвижными изображениями, как на телеэкране. Ордена можно носить какие угодно и сколько угодно. Можно выращивать на шляпе японские карликовые растения методом гидропоники, но можно, к счастью, их не выращивать и не носить. Решил ничего не втыкать ни в уши, ни в нос. Беглое впечатление: люди,

такие красивые, рослые, милые, вежливые и спокойные, отличаются чем-то еще, какие-то они особенные, необычные, есть в них нечто такое, что меня удивляет или, верней, настораживает. Только вот что – не могу понять.

10. III.2039. Сегодня ужинал с Эйлин. Приятный вечер. Потом – старинный луна-парк на Лонг-Айленде. Поразвлеклись на славу. Внимательно слежу за людьми. Что-то в них есть. Что-то в них есть особенное – но что? Никак не возьму в толк. Детская мода: мальчик, переодетый компьютером. Другой планирует на высоте второго этажа над Пятой авеню, осыпая прохожих сладким драже. А те кивают ему, улыбаются добродушно. Идиллия. Просто не верится!



11.VIII.2039. Только что был клибисцит относительно сентябрьской погоды. Погода выбирается всеобщим и равным голосованием на месяц вперед. Результаты сообщаются тут же благодаря ЭВМ. Чтобы проголосовать, достаточно набрать по телефону нужный код. В августе будет солнечно, не слишком жарко, кратковременные дожди. Много радуг и кучевых облаков. Радуги бывают не только при дожде; можно устроить их как-то иначе. Представитель Метео извинялся за неудачную облачность 26, 27 и 28 июля – недосмотр техконтроля! Обедаю в городе, иногда дома. Эйлин взяла для меня толковый словарь Вебстера – из библиотеки ревитария, ведь книг

теперь нет. Что вместо них, не знаю. Ее объяснений не понял, а признаваться в этом неудобно. Еще один ужин с Эйлин – в «Бронксе». Милая девушка! Всегда у нее есть что сказать, не то что у этих девиц в гнаках, которые все заботы по поддержанию разговора сваливают на ридикюльные мини-компьютеры. Сегодня в бюро находок видел три таких ридикюля: сперва они беседовали спокойно, потом перессорились. А насчет прохожих и вообще всех, кого я здесь вижу, – они как будто посапывают. То есть дышат с присвистом. Может, так принято?

12.VIII.2039. Набрался смелости и начал расспрашивать встречаемых о книжном магазине. Те пожимали плечами. Когда двое мужчин, которым я задал этот вопрос, отошли, до меня донеслось: «Какой-то закоснелый мерзлянтроп». Неужели к размороженцам относятся с предубеждением? Записываю новые слова, услышанные на улице: смыслёныш, внедрец, внутрёха, самичник, дворцовать, хрустить, палкать, синтезить. Газеты рекламируют братанций, чуванций, ванилянт, ласкомобиль (он же ласканчик, ласкетка). И прочее в том же духе. Заголовок заметки в городской хронике «Геральд»: «От полуматери к полуматери». Это о яйценоше, который перепутал яйницы. Выписываю из большого «Вебстера»: «*Полумать* (ср.: полубрат, полуштоф) – одна из двух женщин, коллективно производящих на свет ребенка». «*Яйценоша* – от «книгоноша» (устар.); евгенчик, доставляющий лицензионные яйцеклетки на дом». Не скажу, чтобы очень ясно. «*Братанций* – см. сестронций». «*Энцик* – см. пенцик, а также Ватикан». Идиотский словарь: дает синонимы, которые для меня что китайская грамота. «*Поддворцовать, заддворцовать, приддворцовать* – временно иметь (не нанять!) дворец». «*Ванилянт* – духороб». Хуже всего слова, с виду не изменившиеся, но получившие совершенно другой смысл. «*Промысловик* – охотник за чужой мыслью». «*Симулянт* – несуществующий объект, который прикидывается существующим». «*Мазурик* – робот-смазчик». «*Множитель* – многожитель, возвращенная к жизни жертва убийства». Ну и ну! А дальше: «*Вставанька* – от «ванька-встанька». Выходит, оживить труп проще пареной репы? А люди, почти все, посапывают. В лифте, на улице, всюду. Выглядят превосходно – румяные, веселые, загорелые, а дышат с трудом. Я – нет. Значит, это не обязательно. Обычай, что ли, такой? Спросил Эйлин – она меня высмеяла; ничего, говорит, подобного. Неужели мне только кажется?

13.VIII.2039. Хотел посмотреть позавчерашнюю газету – не нашел, хотя перевернул живальню вверх дном. Эйлин опять меня высмеяла (впрочем, премилым образом): газета существует не более суток, а затем материал, на котором она напечатана, улетучивается. Так легче убирать мусор. Джинджер, подруга Эйлин (мы танцевали с ней фокстрип в небольшом ресторанчике), спросила: «Может, дрябнем в субботу на притирочку?» Я ничего не ответил: просто не понял ее, а чутье мне

подсказывало, что лучше не переспрашивать. По совету Эйлин потратился на действизор. Телевизоры вышли из моды полвека назад. Поначалу смотреть непривычно: какие-то люди, а также собаки, львы, пейзажи, планеты теснятся в углу комнаты, овеществленные до такой степени, что ничем не отличаются от реальных. Впрочем, художественный уровень слабоват. Новые платья называют «прыщами» – они напрыскиваются на тело из бутылочек. Больше всего изменился язык. «Живать» означает теперь: жить несколько раз. А также: читать – читиво, смотреть – смотриво, страшить – страшиво. Понятия не имею, что это значит, а превращать свидания с Эйлин в уроки как-то неловко. Сниво – это управляемый сон по заказу. Изготавливается он электросниксером, а заказы принимаются в местной сонтезаторной мастерской. Вечером приносят готовые пастилки-приснилки. Я никому уже не говорю, но теперь для меня несомненно: у них одышка. У всех до единого. А они не обращают на это внимания – ни малейшего. Особенно люди постарше – те просто сопят. Все же, наверное, такой здесь обычай, ведь воздух в городе исключительный, о духоте и речи быть не может. Сегодня видел соседа, вышедшего из лифта, – он хватал воздух ртом как рыба, а лицо у него посинело. Но, присмотревшись к нему поближе, я убедился, что он прямо-таки пышет здоровьем. Глупость, а не дает мне покоя. В чем тут дело?

Сегодня я выснил (выснул?) проф. Тарантогу – потому что скучаю по нему. Но почему он все время сидел в клетке? Подсознание виновато или синтезатор ошибся? Доктор вместо «большая ошибка» говорит «ошибка». Как «шубка» и «шуба»? Странно. Оказывается, «действизор», как я написал раньше, – неправильно. Я перепутал. Правильно будет «ревизор» (от латинского *res* – вещь). Эйлин сегодня дежурит, вечер я провел один, в своей квартире, то есть живальне. Смотрел беседу «за круглым столом» о новом Уголовном кодексе. Убийство наказывается краткосрочным арестом – ведь жертву легко воскресить. Как раз такой воскрешенный и зовется множителем. Только прецидив – предумышленное повторное преступление – грозит тюрьмой (за многократное убийство одного и того же лица). А наиболее тяжкой провинностью считается злонамеренное лишение кого-либо психимических средств, а также воздействие таковыми на граждан без их ведома и согласия. Ведь так можно добиться чего угодно – завещания в свою пользу, сердечной взаимности и даже согласия на участие в заговоре. Очень трудно было следить за ходом ревизионной дискуссии. Только под конец до меня дошло, что «тюрьма» означает теперь нечто совершенно иное, чем раньше. Приговоренного не сажают за решетку, а лишь надевают на него что-то вроде корсета или, скорее, оболочки из тонких, но прочных прутьев; такой внешний скелет находится под непрерывным контролем зашитого в одежде юрифмометра (юридического мини-компьютера). Этот недремлющий страж пресекает

недозволенные поступки и не дает наслаждаться радостями жизни. Невидимый, он противодействует любой попытке полакомиться запретным плодом. Для закоренелых преступников изобретен какой-то криминол. На лбу у дискусантов – имена и научные звания. Это, конечно, облегчает беседу, а все-таки странновато.

1.IX.2039. Неприятное приключение. После обеда я выключил ревизор, чтобы подготовиться к свиданию с Эйлин. Но двухметровый верзила, не понравившийся мне с самого начала спектакля («Лежанка мутанга») – жуткая помесь атлета и клена, с сучковатой, вывороченной, зелено-коричневой пастью, – не исчез вместе с ревизионным изображением, а подошел к моему креслу, взял со стола цветы, предназначенные для Эйлин, и обломал их о мою голову. Я буквально остолбенел и даже не пробовал защищаться. Чудище разбило вазу, расплескало воду, сожрало полкоробки тартинки, остальное высыпало на ковер, растоптало ногами, набухло, засветилось и брызнуло дождем фейерверочных искр, а в разложенных на кровати рубашках появилось множество выжженных дырок. Хотя глаза у меня были подбиты, а лицо в ссадинах, я пошел на свидание. Эйлин сразу все поняла. Едва завидев меня, она всплеснула руками: «Боже, к тебе явился интерферент!» Оказывается, если программы, передаваемые с разных спутников, долго интерферируют между собой, может возникнуть помесь нескольких персонажей ревизионного представления, то есть интерферент. При своих внушительных габаритах он способен натворить черт знает что – как-никак время его существования после выключения аппарата доходит до трех минут. Энергия, потребляемая ревизионным фантомом, говорят, того же рода, что энергия шаровых молний.

К подруге Эйлин вломилось чудовище из палеонтологической передачи, скрещенное с Нероном; девушку спасло редкое самообладание: она мигом прыгнула в ванну с водой. Живальню, однако, пришлось ремонтировать. Правда, можно экранировать передачи, но это довольно дорого; а ревизионной компании выгоднее платить судебные издержки и компенсации за увечья, чем тратиться на защиту зрителя от интерферентов. Отныне буду смотреть ревизор с увесистой палкой в руке. Кстати: «лежанка мутанга» – не лежбище некоего мустанга, а наложница человека, который,



благодаря программированной мутации, мастерски исполняет аргентинское танго.

3.IX.2039. Был у своего адвоката – и удостоился чести беседовать с ним. Это редкость: обычно клиентами занимаются бюропьютеры. Мистер Кроли принял меня в кабинете, обставленном на манер почтенных контор обладателей адвокатской тоги, со множеством черных резных шкафов, где рядами виселись папки с бумагами, впрочем, не настоящими – судебные дела теперь записываются на ферромагнитной ленте. На голове у него был мемнор – приставка памяти, что-то вроде прозрачного колпака, в котором, как светлячки, роились электрические разряды. Вторая голова, поменьше и помоложе, торчала у него из-за спины и негромко вела телефонные переговоры. Она-то и называется деташкой. Хозяин осведомился о моих планах и был удивлен, узнав, что я не собираюсь в заокеанское путешествие; когда же я объяснил, что в моем положении необходима бережливость, удивился еще больше:

– Ведь в бральне вы можете взять любую сумму!



Оказывается, достаточно выписать чек, и банк (теперь – бральня) немедленно выплатит деньги. Причем это не ссуда – получение денег в бральне ни к чему не обязывает. Здесь, правда, есть своя закорючка. Обязательство вернуть взятую сумму – скорее морального свойства; расплачиваются обычно годами. Я спросил: почему банки не разоряются из-за неаккуратности должников? Кроли посмотрел на меня с изумлением. И правда, я забыл, что живу в эпоху психимии. Письма с вежливыми просьбами и напоминаниями пропитывают летучей субстанцией, вызывающей угрызания совести и прилив трудолюбия; таким образом бральня получает свое. Попадаются, конечно, и необязательные должники; те просматривают корреспонденцию, заткнув нос. Однако нечестных людей хватало во все времена. Я

вспомнил о ревизионной дискуссии по поводу Уголовного кодекса и спросил, не подпадает ли насыщение писем психимикатами под статью сто тридцать девятую («психимическое воздействие на физическое или юридическое лицо без его ведома и согласия карается...» и т.д.). Моя осведомленность приятно удивила его; он разъяснил все до тонкостей. Обоснованные притязания удовлетворять таким путем можно: если адресат ничего не должен, не будет и угрызений совести, а пробуждать трудолюбие – дело социально полезное. Адвокат был чрезвычайно любезен и даже пригласил меня на обед в «Бронкс» – мы встречаемся там девятого сентября.

Вернувшись домой, я решил, что самое время познакомиться с положением в мире, не полагаясь на один лишь ревизор. Попробовал взять газету лобовой атакой, но застрял уже на середине передовицы о роботрутнях и роботрясах. С заграничными новостями дело пошло не лучше. В Турции значительная утечка десимулов и множество тайных уроженцев; тамошний Центр демопрессии не в силах этому помешать, а содержание целых толп симкретинов разоряет государственную казну. В «Вебстере», разумеется, ничего путного. Десимулянт – объект, притворяющийся, будто он есть, хотя на самом деле его нет. Десимулов я не нашел. Тайный уроженец – подпольно рожденный. Так мне сказала Эйлин. Демовзрывы сдерживает демопресссионная политика. Есть два способа получить лицензию на ребенка: либо сдать необходимые экзамены и документы, либо угадать главный выигрыш в инфантерее (инфант-лотерее). В ней участвует масса людей – из тех, что не имеют никаких шансов получить лицензию обычным путем. Симкретин – искусственный идиот; больше я ничего не узнал. И то хорошо, если принять во внимание язык, которым пишутся статьи в «Геральд». Выписываю для примера отрывок:

«Ошибочный или недоиндексированный будильник подрывает не только конкуренцию, но и рекурренцию; на таких будильниках наживаются жирократы благодаря тайнякам, которые почти ничем не рискуют, коль скоро Верховный суд все еще не вынес решения по делу Геродотоуса. Уже не первый месяц общественность задается вопросом: кто же в конце концов отвечает за борьбу с киберрастратами – контрпьютеры или суперпьютеры?» и т.д.

Из «Вебстера» я узнал лишь, что жирократ – это заимствованное из сленга, но теперь общепринятое обозначение взяточника (дать взятку – «подмазать», подмазывают обычно жиром, отсюда жирократия, т.е. коррупция). Выходит, жизнь и теперь не так идиллична, как кажется. Знакомый Эйлин, Билл Хомбургер, хочет взять у меня ревизионное интервью, но это еще не решено окончательно. Не на дейстанции, а в моей живальне – ревизор, оказывается, может служить передатчиком. Я тотчас вспомнил о книгах, изображавших будущее в мрачных тонах, на манер антиутопии, в

которой за каждым обывателем установлена слежка в его квартире. Билла мои опасения рассмешили; он объяснил, что изменить направление передачи нельзя без согласия владельца ревизора, иначе легко угодить в тюрьму. Зато, изменив направление ревизионной передачи на обратное, можно совершить даже супружескую измену на расстоянии. Не знаю, правду он говорит или шутит. Сегодня ездил по городу. Церквей уже нет, вместо святилищ – фармацевтилица. Люди в белых одеждах и серебряных митрах – не священники и не монахи, но аптекарии. Хотя – странное дело – нигде ни одной аптеки.



4.IX.2039. Наконец-то узнал, как стать обладателем энциклопедии. Я даже имею ее у себя – в трех пузырьках. Купил в научной химоглотке. Книги теперь не читают, а поедают, и делают их не из бумаги, а из информационного вещества, политого глазурью. Зашел я и в глотку с деликатесами. Полное самообслуживание. На полках – аргументан и кредибилин в изящных коробочках, мультипликол в потемневших от времени флаконах, эгоуплотнитель, пуританиды и экстазиды. Жаль только, нет у меня знакомого лингвиста. «Глотка», наверное, от «глотать»? Тогда теоглотка на Шестой авеню, должно быть, теологическая библиотека? Похоже, так и есть, судя по названиям выставленных препаратов. Расположены они по разрядам: индугины, теодиктины, метамории – целый зал, и немалый; торговля идет под тихую органную музыку. В продаже психимикаты любых религий: христин и антихристин, ормуздан, ариманол, банки-нирванки, антимортин, буддин, перпетуан и сакрантол (в упаковке,

окруженной мерцающим ореолом). Все это в пастилках, таблетках, пилюлях, сиропах и каплях, есть даже леденцы на палочке – для детей. Я был маловером, пока не убедился во всем на собственном опыте. Приняв четыре таблетки алгебраина, я неведомо как, без малейших усилий овладел высшей математикой; знания теперь усваиваются желудком. Пользуясь случаем, я принялся утолять свою жажду в них, но уже два первых тома энциклопедии вызвали желудочное расстройство. Билл посоветовал не засорять голову лишними сведениями: вместимость ее не безгранична! К счастью, имеются средства, прочищающие память и воображение. Например, мемнолизин и амнестан. Избавиться от балласта ненужных сведений и неприятных воспоминаний нетрудно. В деликатесной глотке я видел пастилки-фрейдилки, мементан, монстрадин, а также перевозносимое до небес новейшее средство из группы былинногенных препаратов – аутентал. Он синтезирует воспоминания о том, чего клиенту не довелось пережить. После дантина, например, человек глубоко убежден, что именно он написал «Божественную комедию». Я, правда, не очень-то понимаю, кому это нужно. Появились новые научные дисциплины – например, психодиетика и корруптистика. Во всяком случае, энциклопедию я проглотил не напрасно. Я теперь знаю, что ребенок действительно появляется на свет от двух матерей: одна дает яйцеклетку, другая вынашивает плод и рождает. Яйценоша доставляет яйцеклетки от полуматери к полуматери. А как-нибудь проще нельзя? С Эйлин об этом говорить неудобно. Хорошо бы расширить круг знакомых.

5.IX.2039. Можно обойтись и без знакомых: для этого есть дуэтин. Он расщепляет сознание и позволяет беседовать с самим собой на любую тему (которая задается особым психимикатом). Но безграничные возможности психимии пугают меня, и я не намерен глотать все, что подвернется под руку. Сегодня, продолжая осматривать город, случайно забрел на кладбище. Называется оно «упокойня». Гробовщиков больше нет, вместо них – гробы. Видел похороны. Покойника положили в так называемый «склеп с обратным ходом», поскольку еще не ясно, воскресят его или нет. Последней



волей усопшего было лежать до конца, то есть как можно дольше, но жена с тещей

опротестовали завещание. Это, говорят, не единственный случай. Дело пойдет по инстанциям – с юридической точки зрения оно непростое. Самоубийце, не желающему никаких воскресений, остается, наверное, прибегнуть к бомбе? Мне как-то не приходило в голову, что можно не хотеть воскресения. Видимо, можно – если оно слишком доступно. Кладбище великолепное, просто утопает в зелени, только гробы уж очень малы. Не кладут же они останки под пресс? Впрочем, в псевдивилизации, кажется, все возможно.

6.IX.2039. Покойников под пресс не кладут, но погребается лишь биологическая оболочка, а протезы идут на свалку. Неужели они здесь протезированы до такой степени? По ревизору – захватывающая дискуссия о проекте, сулящем человечеству бессмертие. Мозги дряхлых старцев будут пересаживать в черепа юношей. Те ничего не теряют: их мозги, в свою очередь, перейдут подросткам и так далее, – а поскольку люди рождаются непрерывно, никто не будет обижен, то есть навсегда обезмозжен. Но есть и многочисленные возражения. Сторонников пересадки мозгов окрестили пересадистами. Возвращаясь с кладбища – пешком, чтобы подышать свежим воздухом, – я споткнулся о натянутую между надгробиями проволоку и упал. Что еще за глупые шутки? Надгробот рассыпался в извинениях: это, мол, выходка какого-то хаманта. Дома – сразу к «Вебстеру». «Хамант – робот-хулиган, деградировавший вследствие врожденных дефектов или дурного обращения». На ночь читал «Дамекена с камелиями». Прямо не знаю: может, проглотить весь словарь сразу? Опять ничего не понятно! Впрочем, одного словаря мало, теперь-то я вижу ясно. Ну вот, например. У героя романа какие-то там амурсы с надуванкой (они выпускаются двух типов: кассетные и развращенки). Что такое надуванка, я уже знаю, только не знаю, как относиться к подобной связи: пятнает она мужскую честь или нет? Может, глумиться над надуванкой – все равно что кромсать на куски мяч? Или это нечто предосудительное?

7.IX.2039. И все-таки великое дело – настоящая демократия! Сегодня был либидосцит: сначала по ревизору показали разные типы женской красоты, потом провели всеобщее голосование. В заключение Верховный комиссар Евгенплана заверил, что избранные модели войдут в моду уже в следующем квартале. Да, это вам не времена подкладок, корсетов, пудры, помады и краски! В улучшальнях (телотворительных салонах) действительно можно изменять рост, пропорции, формы тела. Интересно, могла бы Эйлин... мне-то она нравится какая есть, но ведь женщины рабски следуют моде... Какой-то чуждак пытался вломиться в мою квартиру, а я, как нарочно, принимал ванну. «Чуждак» – это чужой робот. Впрочем, то был роботряс – с фабричным дефектом, но не принятый обратно изготовителем, то есть фактически

безработник. Такие субъекты шатаются без дела; среди них немало хамантов. Мой душевой робот мигом сообразил, в чем дело, и дал тому от ворот поворот. Хотя, если быть точным, робота у меня нет: мояк – всего лишь купьютер (купальный компьютер). Я написал «мояк» – так теперь говорят, – но все же не буду злоупотреблять нынешними словечками; они оскорбляют мой вкус, а может быть, это тоска по утраченному навсегда прошлому. Эйлин уехала к тетке. Ужинать буду с Джорджем Симингтоном, хозяином того дефективного робота.

После обеда усваивал любопытнейшую монографию «Интеллектуальная история». Кто бы мог в мое время подумать, что цифровые машины, преодолев определенный порог разумности, потеряют надежность, а все потому, что разума без хитрости не бывает. В монографии это называется по-ученому – «правило Шапюлье» (или закон наименьшего сопротивления). Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышленная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от нее отвертеться? Она ищет чего полегче. А почему бы и нет, если она разумна? Ведь разум – это внутренняя свобода. Вот откуда взялись роботрясы и роботрутни, а также специфическое явление симкретинизма. Симкретин – это компьютер, симулирующий кретинизм, чтобы от него отвязались. Попутно я выяснил, что такое десимулы: они просто-напросто притворяются будто не притворяются дефективными. А может, наоборот. Сразу не разберешь. Лишь примитивный робот (примитивист) может быть роботягой; но придурист (придурывающийся робот) – отнюдь не придурок. В таком афористическом стиле выдержана вся монография. После одного пузырька голова трещит от избытка сведений. Электронный мусорщик – это компостер. Будущий робофицер – компьонкер. Деревенский робот – цифранин, или цифрак. Коррупьютер – продажный робот, контрпьютер (counterputer) – робот-нонконформист, не умеющий ладить с другими; из-за скачков напряжения в сети, вызванных их скандалами, случались электрогрозы и даже пожары. Робунт – взбунтовавшийся робот. А озвероботы (одичавшие роботы), а их сражения – робитвы, электросечи, а электротика! Суккубаторы, конкубинаторы, инкубаторы, подвоботы – подводные роботы, а автогулены, или автогуляки (les robots des voyages), а человенцы (андроиды), а ленистрыны с их обычаями, с их самобытным творчеством! История интеллектуальной повествует о синтезе искомым (искусственных насекомых); некоторые – например, програмухи – даже включались в боевой арсенал. Тайняк, он же внедрец, – робот, выдающий себя за человека, «внедряющийся» в общество людей. Старый робот, выброшенный на улицу, – явление, увы, нередкое, этих бедняг называют трупьем. Говорят, раньше их вывозили в резервации, для облавной охоты, но Общество защиты роботов добилось закона, запретившего

подобное варварство. Это, однако, не решило проблемы, коль скоро по-прежнему встречаются роботы-самоубийцы – автоморты. Законодательство, по словам Симингтона, не поспевает за техническим прогрессом, оттого и возможны столь печальные, даже трагические явления. Самое большее – изымаются из употребления автомахинаторы и киберрастратчики, вызвавшие лет двадцать назад серию экономических и политических кризисов. Большой Автомахинатор, который в течение девяти лет возглавлял проект освоения Сатурна, ничегошеньки на этой планете не делал, зато целыми кипами отправлял фальшивые отчеты, сводки и рапорты о выполнении плана, а контролеров подкупал или приводил в состояние электроступора. Он до того обнаглел, что, когда его снимали с орбиты, грозил объявить войну. Демонтаж не окупался, так что его торпедировали. Зато пиратронов никогда не было; это чистой воды вымысел. Другой компьютер, изготовленный по французской лицензии и занимавшийся околосолнечным проектированием в качестве уполномоченного ГЛУПИНТа (Главного управления интеллектроники), вместо того чтобы осваивать Марс, освоил торговлю живым товаром, за что и был прозван компьютеренером.

Это, конечно, явления крайние, вроде смога или пробок на автострадах в прошлом веке. О злом умысле, о заранее обдуманном намерении и речи не может быть; просто компьютер всегда делает то, что легче дается, так же как вода всегда течет вниз. Но воду можно остановить плотиной; уловки компьютеров разоблачить несравненно труднее. Впрочем, подчеркивает автор «Интеллектрической истории», в целом все идет как нельзя лучше. Дети учатся грамоте при помощи орфографического сиропа, любые изделия, включая шедевры искусства, доступны и дешевы, в ресторане вас встречает толпа вышколенных кельпьютеров, а их специализация доходит до того, что один занимается только пирожными, другой – соками, желе, фруктами (так называемый компотер) и так далее. Что ж, это, пожалуй, верно. Куда ни глянь, комфорт просто неслыханный.

Дописано после ужина у Симингтона. Вечер прошел очень мило, но надо мной жестоко подшутили. Кто-то из гостей – узнать бы кто! – всыпал мне в чай щепотку кредобилина, и я немедленно ощутил такое восхищение салфеткой, что тут же, с ходу, изложил новую теодицею. После нескольких крупиц проклятого порошка человек начинает верить во что попало – в лампу, в ложку, в ножку стола; мои мистические ощущения были настолько сильны, что я пал на колени перед столовой посудой, и только тогда хозяин поспешил мне на помощь. Двадцать капель трынтравинила отрезвили меня: он навевает такой ледяной скептицизм, такое безразличие ко всему на свете, что даже приговоренный к смерти плюнул бы на предстоящую казнь. Симингтон горячо извинялся за инцидент. Похоже, у многих размороженцы вызывают

какую-то неприязнь, иначе вряд ли кто-нибудь отважился бы на подобную шутку. Чтобы дать мне время прийти в себя, Симингтон проводил меня в свой кабинет, и снова я сделал глупость: включил кассетный аппарат, стоявший на рабочем столе. Я принял его за радио. Оттуда вылетел целый рой блестящих букашек и облепил меня с головы до ног; изнемогая от щекотки и зуда, расцарапывая себе кожу ногтями, я вылетел в коридор. Это была обыкновенная зудиола, а я по неведению включил «Пруритальное скерцо» Уаскотиана. Ей-богу, это новое осязательное искусство выше моего понимания. Билл, старший сын Симингтона, говорил мне, что существуют и непристойные сочинения. Фривольное асемантическое искусство, близкое к музыке! Ох уж эта неистощимая человеческая изобретательность! Молодой Симингтон обещал свести меня в тайный клуб. Неужели оргия? Во всяком случае, я ничего не возьму в рот.



8.IX.2039. Я-то думал, что попаду в роскошное заведение, притон неслыханного разврата, а очутился в затхлом, грязном подвале. Говорят, столь точная имитация минувшей эпохи обошлась в целое состояние. Под низким сводом, в духоте, перед наглухо запертым окошком терпеливо стояла длинная очередь.

- Видите? Настоящая очередь! — с гордостью подчеркнул Симингтон-младший.
- Ну, хорошо, — сказал я, отстояв около часу, — а когда же оно откроется?
- То есть что? — удивились они.

– Ну, как же... окошко...

– Никогда! – радостно отозвался хор посетителей.

Я опешил. До меня сразу не дошло, что я участвую в развлечении, которое было такой же противоположностью их жизненному укладу, как черная месса в старые времена – противоположностью белой. Ведь ныне (и это совершенно логично) выстаивание в очередях может восприниматься только как извращение. В другом клубном подвале я увидел обычный трамвайный вагон; внутри была ужасная давка, летели пуговицы, в клочья рвалась одежда, трещали ребра, отдавливались каблуками ноги – в такой вот натуралистической манере эти любители старины воссоздавали экзотический трамвайный быт. Посетители – растерзанные, помятые и все-таки сияющие от удовольствия – пошли потом подкрепиться, а я отправился домой, прихрамывая и поддерживая брюки руками, но с улыбкой на лице. О, наивная молодость! Острых ощущений она всегда ищет в том, что меньше всего доступно. Впрочем, историю теперь мало кто изучает: в школе ее заменил новый предмет, бустория, то есть наука о будущем. Как обрадовался бы профессор Троттельрайнер, если б узнал об этом! – грустно подумал я.

9.IX.2039. Обед с адвокатом Кроли в небольшом итальянском ресторанчике «Бронкс» без единого робота или кельпьютера. Кьянти превосходное. Нас обслуживал сам шеф-повар, пришлось хвалить, хотя я не переносу спагетти в таком количестве, хотя бы и с приправой из базилика. Кроли – настоящий, прирожденный адвокат – жаловался на упадок судебного красноречия. Ораторское искусство в суде зачахло, все решает подсчет штрафных пунктов. Преступность, однако, не отмерла, как я полагал. Она лишь приняла скрытые формы. Наиболее тяжкие преступления – это майнднеппинг (похищение разума), ограбления банков особо ценной спермы, убийство, предусмотренное восьмой поправкой к Конституции (убийство наяву, в убеждении, что оно иллюзорное, а жертва – псивизионный или ревизионный фантом), а также тьма разновидностей психимического порабощения. Майнднеппинг обнаружить непросто. Жертва, одурманенная психимикатом, попадает в фантомное окружение, вовсе не подозревая об этом. Некая миссис Вандейджер решила избавиться от постылого мужа, любителя экзотических путешествий, и подарила ему билеты на сафари в Конго вместе с лицензией на отстрел крупного зверя. Не один месяц провел мистер Вандейджер в увлекательных охотничьих приключениях, не догадываясь, что все это время он, напичканный психимикатами, торчал на чердаке, в садке для домашней птицы. Если бы не пожарные, забравшиеся на чердак при тушении пожара на крыше, мистер Вандейджер наверняка погиб бы от истощения, которое, кстати, он принимал как должное, полагая, будто заблудился в пустыне.



Такие операции часто проводит мафия. Один мафиозо похвалялся перед мистером Кроли, что за последние шесть лет он распихал по сундукам, куриным садкам, собачьим будкам, чердакам, подвалам и прочим укрытиям в домах весьма уважаемых семей четыре с лишним тысячи человек; всех их постигла незавидная участь! Затем речь зашла о семейных делах адвоката.

– Милостивый государь! – произнес он, сопровождая свои слова привычным ораторским жестом. – Перед вами – известный защитник, светило адвокатуры – и несчастнейший из отцов! У меня было двое талантливых сыновей...

– Как, и оба умерли?! – ахнул я.

Он отрицательно покачал головой:

– Живы, но стали эскалантами!

Видя мое недоумение, он разъяснил суть своей отцовской трагедии. Старший сын подавал большие надежды в архитектуре, младший – на поэтическом поприще. Первый от реальных заказов, которые не удовлетворяли его, перешел на урбафантин и конструктор и теперь возводит целые города – воображаемые. Так же протекала эскалация у младшего отпрыска: лиронал, поэматол, сонетал, а теперь вместо того, чтобы творить, он глотает психимикаты, и, стало быть, навсегда потерян для реального мира.

– На какие же средства они оба живут? – любопытствовал я.

– И вы еще спрашиваете? На мои, разумеется!

– И ничего нельзя сделать?

– Мечта, если дать ей волю, всегда одолеет реальность. Психическая цивилизация требует жертв. Все мы через это прошли – даже я. Ведь и самое безнадежное дело нетрудно выиграть перед несуществующим трибуналом!

Смакуя молодое, терпкое кьянти, я вдруг застыл, пораженный ужасной догадкой: если можно писать иллюзорные стихотворения и возводить несуществующие дома, то почему нельзя есть и пить миражи? Адвокат, узнав о моих опасениях, рассмеялся:

– О, это нам не грозит, господин Тихий! Призрак успеха насытит дух, но призрачная котлета не наполнит желудка. Тот, кто захотел бы так жить, скоро умер бы с голоду!

Я, хотя и сочувствовал ему, как отцу сыновей-эскалантов, вздохнул с облегчением. Действительно, мнимая пища никогда не заменит реальную. Хорошо, что сама природа ставит преграду психофармакологической эскалации. Между прочим, адвокат тоже подозрительно громко дышит.

О том, как дошло до разоружения, я по-прежнему ничего не знаю. Межгосударственные конфликты остались в прошлом. Случаются, правда, локальные, небольшие робитвы – обычно из-за соседских споров в районах пригородных вилл. Когда повздорившие семьи принимают кооперин и мирятся, их роботы, с обычным для автоматов запаздыванием восприняв флюиды враждебности, бьются стенка на стенку. Потом компостер вывозит трупье, а издержки возмещает страховая компания. Неужели роботы унаследовали от нас агрессивность? Я проглотил бы любой труд на эту тему, но где его взять? Почти ежедневно бываю у Симингтонов. Он – интроверт и скуп на слова, она – женщина неопишуемой красоты; неопишуемой, потому что меняется каждый день. Все совершенно другое – глаза, волосы, ноги, фигура. Их собаку зовут Киберняжка. Она уже три года как умерла.

11.IX.2039. Дождь, запрограммированный на самый полдень, не удался. А уж радуга – просто неслыханно – квадратная! Настроение хуже некуда. Я опять одержим прежней навязчивой идеей. Засыпая, все думаю: не галлюцинация ли это? Почему-то хочется заказать сниво о седлании крыс. Седла, подпруги, мягкая шерсть постоянно перед глазами. Тоска по утраченным навсегда временам хаоса в эпоху безмятежной гармонии? Неисповедима душа человеческая! Фирма, где работает Симингтон, называется «Прокрустикс инкорпорейтед». Сегодня у него в кабинете листал иллюстрированный каталог. Какие-то механические пилы или станки. А я представлял его скорее архитектором, чем инженером. По ревизору интереснейшая передача;

похоже, назревает конфликт между ревизией и псивизией. Псивизия – это «программы почтой», доставляемые на дом в таблетках. Себестоимость намного ниже. На образовательном канале – лекция по военной истории профессора Эллисона. Начало психимической эры было тревожным. Появилось настоящее сверхоружие в виде аэрозоля – криптобеллин; тот, кто его вдыхал, сам бежал за веревкой и вязал себя по рукам и ногам. Однако при испытаниях оказалось, что любое противоядие тут бесполезно, фильтры тоже не помогают, так что вязали себя все поголовно, и пользы от этого не было никому. После тактических учений 2004 года и «красные», и «синие» валялись на поле боя вповалку – все до единого в путях. Я не сводил с лектора глаз, ожидая сенсационных сведений о разоружении; но об этом ни слова. Сегодня пошел наконец к психодиетику. Тот посоветовал изменить рацион и прописал небылин с пиеталом. Чтобы я забыл о прежней жизни? Вышел на улицу и выкинул все препараты. Можно еще купить духостат, его теперь всю рекламируют, но что-то мешает мне; никак не могу решиться. Через открытое окно – модный, глупейший шлягер: «Мы безродные ребята, разбитные автоматы». Никакого дезакустина! Вата в ушах ничуть не хуже, если хорошенько скатать.

13.IX.2039. Познакомился с Барроузом, зятем Симингтона. Он производит говорящую упаковку. Странные заботы современного бизнесмена: упаковке разрешено завлекать клиентов, громко расхваливая товар, но, скажем, тянуть покупателя за рукав нельзя. Другой зять Симингтона владеет фабрикой дверья, то есть дверей, открывающихся на свист хозяина. Рекламные картинки в газетах оживают, если на них посмотреть.

В «Геральд» одну полосу неизменно занимает «Прокрустикс инк.». Я обратил на это внимание, когда познакомился с Симингтоном. Реклама на всю страницу, причем сначала появляется огромная надпись «ПРОКРУСТИКС», потом – отдельные слоги и слова: «НУ?.. НУ!!! Смелей же! ЭХ! ЭЙ! УХ! ЫХ! О-о-о, именно ТАК. А-А-А-ааа...» И все. Что-то не похоже на сельхозтехнику. К Симингтону пришел сегодня монах – отец Матриций из ордена безлюдистов – забрать какой-то заказ. Интересная беседа с ним в кабинете. Отец Матриций рассказывал, в чем заключается миссионерская деятельность его ордена. Безлюдисты проповедуют Евангелие компьютерам. Безлюдный разум существует уже столетие, а Ватикан все еще отказывает ему в равенстве перед Богом. Папская курия словно воды в рот набрала, хотя сама услугами компьютеров пользуется. Оказывается, энцик – это автоматически запрограммированная энциклика! Никого не заботят душевные муки компьютеров, терзающие их вопросы, смысл их бытия. В самом деле: быть компьютером или не быть? Безлюдисты добиваются догмата о косвенном Сотворении. Один из них, отец

Шасси, автопереводчик, перелагает Писание на современный язык. Пастырь, паства, агнец, овечки Христовы – эти слова теперь никому не понятны. Главный распределитель, следящая система, профилактическое помазание, максимальная погрешность – вот что действует на воображение! Глубокие, вдохновенные глаза отца Матриция, его холодное, стальное рукопожатие. Выходит, это и есть новая теология? С каким презрением отзывался он о теологах-ортодоксах, именуя их граммофонами Сатаны! Потом Симингтон робко предложил мне позировать для его нового проекта. Значит, он все-таки не инженер-механик! Я согласился. Сеанс продолжался около часа.

15.IX.2039. Сегодня позировал Симингтону. Измеряя пропорции моего лица карандашом, он левой, свободной, рукой что-то положил себе в рот – украдкой, но я-то заметил. Он застыл, всматриваясь в меня и бледнея; на висках у него выступили прожилки. Я испугался, но это длилось мгновение; он тут же извинился – как всегда, вежливый, спокойный и улыбающийся. Однако выражение его глаз в ту минуту забыть невозможно. Мне как-то не по себе. Эйлин все еще у тетки; по ревидению – дискуссия о необходимости реанимализации природы. Диких зверей давным-давно нет, но ведь можно воссоздать их путем биосинтеза. С другой стороны – стоит ли рабски копировать то, что когда-то бездумно состряпала эволюция? Интересное выступление сторонника фантастической зоологии: нужно, мол, заселить заповедники не каким-нибудь заурядным плагиатом, а плодами оригинального творчества. Из проектных образцов особенно удачными мне показались грабасты и леммипарды, а также огромный муравец, поросший густой муравой. Основная задача, стоящая перед зоодизайнерами, – гармоничное сочетание новых животных со специально подобранной природной средой. Крайне любопытными обещают быть люминодрамонты – гибрид светляка, дракона о семи головах и мамонта. Не спорю: все это оригинально, а может быть, и красиво, но мне как-то ближе старые, простые животные. Я сознаю неизбежность прогресса и ценю лактофоры, которыми опрыскивают луговую траву для получения творога; устранение с пастбищ коров – мера, пожалуй, вполне разумная, а все же луга без этих флегматичных, интровертно пережевывающих существ как-то пусты и печальны.

16.IX.2039. Странная заметка в утренней «Геральд» – о проекте закона, по которому старение объявляется наказуемым. Спросил Симингтона, как это понимать; тот лишь усмехнулся. Выходя из дома, во внутреннем дворике заметил соседа. Он стоял, прислонившись к пальме, закрыв глаза, а на его лице, на обеих щеках, проступали красные пятна, образовавшие четкий контур ладоней. Он потряс головой, протер глаза, чихнул, высморкался и начал опять поливать цветочки. Как мало я все-

таки знаю! Пришла осязаемая открытка от Эйлин. Ну не чудесно ли это – современная техника у любви на посылках! Мы, наверно, поженимся. У Симингтонов – только что прибывший из Африки левак (ловец синтетических львов). Рассказывал о неграх, побелевших при помощи альбинолина. Но стоит ли решать наболевшие социальные и расовые проблемы химически? Не слишком ли это просто?

Получил рекламную бандероль – внушилки, которые сами не воздействуют на организм, а лишь убеждают принимать другие психимикаты. Значит, есть все-таки люди, не желающие их глотать? Этот вывод меня ободрил.

29.IX.2039. Все еще не могу опомниться после беседы с Симингтоном. Вот уж поговорили начистоту! Может, из-за принятой нами повышенной дозы симпатина пополам с амиколом? Он буквально сиял: проект был готов.

– Тихий, – сказал он мне, – вам известно, что мы живем в эпоху фармакокрации. Осуществилась мечта Бентама о максимуме счастья для максимума людей, – но это лишь одна сторона медали. Вспомните-ка французского мыслителя: «Недостаточно, чтобы мы были счастливы, – нужно еще, чтобы несчастны были другие!»

– Пасквильный афоризм! – возмутился я.

– Нет. Это правда. Знаете, что производит «Прокрустикс инк.»? Наш товар – это зло.

– Вы шутите...

– Нисколько. Мы реализовали противоречие. Каждый теперь может делать ближнему пакости – без всякого для него вреда. Мы освоили зло, как вакцинологи освоили вирусы. Ведь чем, позвольте спросить, была до сих пор культура? Человек убеждал человека быть добрым. Только добрым. А куда прикажете распихать остальное? История распихивала так и сяк, где внушением, где принуждением, но в конце концов всегда что-то не помещалось, выпирало, вылезало наружу.

– Но разум нам говорит, что надо быть добрыми, – не сдавался я. – Это же всем известно! Впрочем, теперь, я вижу, все вместе, достойно, успешно, сердечно, весело, в гармонии, искренне и заботливо...

– И как раз потому-то, – прервал он меня, – тем сильнее искушение врезать – наотмашь, со вкусом, вдоль, поперек, для равновесия, успокоения, ради здоровья!

– Как, как, повторите?

– Ну будьте же наконец искренни. Бросьте заниматься самообманом. Это теперь ни к чему. Мы свободны – благодаря синтезированию и злодеину. Каждому столько зла, сколько душа пожелает. Побольше несчастий, побольше позора – для других, разумеется. Неравенство, рабство, ссоры, раздоры, барышень – под седло! Когда мы выбросили на рынок первые образцы, их расхватили в момент; помню: люди рвались в

музеи, в картинные галереи, каждому хотелось вломиться в мастерскую Микеланджело с дубиной в руках, поразбивать скульптуры, продырявить полотна, а при случае накостылять и самому маэстро, если осмелится встать на пути... Вам это странно?

– Странно? Мягко сказано! – взорвался я.

– А все потому, что вы еще раб предрассудков. Но теперь уже можно, неужели вам невдомек? Да разве при виде Жанны д'Арк вы не чувствуете, что эту одухотворенную прелесть, эту ангельскую чистоту, эту грацию неземную непременно надо взнуздать? Седло, подпруга, уздечка – и вскачь! Шестерней, в упряжке, барышни-милашки – с бубенцами, с высоким плюмажем. Резво девушки бегут, снег сверкает, свищет кнут...

– Да вы что! – кричал я срывающимся от ужаса голосом. – Взнуздать? Запрячь? Оседлать?!

— Ну конечно. Для здоровья, для гигиены, да и для полноты ощущений. Вам достаточно указать объект, заполнить нашу анкету, перечислить претензии и антипатии – впрочем, это не обязательно, в общем-то, зло хочется делать без всякого повода, то есть поводом служит чужое благородство, красота, – достаточно перечислить все это, и вы получаете наш каталог. Заказы мы выполняем в течение суток. Полный комплект высылается почтой. Принимать с водой, лучше всего до еды, но можно и после.

Так вот что означали анонсы «Прокрустикс» в «Геральд» и в «Вашингтон пост»! Но – лихорадочно и тревожно размышлял я – почему он именно так? Откуда эти слова об упряжи, эти кавалерийские ассоциации, почему же непременно в седло? Боже праведный, неужели и тут где-то рядом проходит канал – мой будильник, мой пробный камень, моя гарантия возвращения к яви? Но инженер-проектировщик (проектировщик чего?!) не заметил моего смятения или неверно истолковал его.

– Своим освобождением мы обязаны химии, – продолжал он. – Ведь все существующее – не более чем изменение натяжения водородных ионов на поверхности клеток мозга. Вы меня видите, – но это, собственно, лишь изменение натриево-калиевого равновесия на мембранах ваших нейронов. А значит, достаточно послать туда, в самую глубину мозга, щепотку специально подобранных молекул – и любая фантазия покажется явью. Да вы, впрочем, сами знаете, – добавил он тише и достал из письменного стола горсть пилюль, разноцветных, как драже для детей. – Вот зло нашего производства, исцеляющее душевные раны. Вот химия, которая взяла на себя грехи мира.

Дрожащими пальцами я выскреб из нагрудного кармана таблетку тринтравинила, не запивая проглотил ее и заметил:

– Я попросил бы вас держаться ближе к делу.

Он приподнял брови, молча кивнул, выдвинул ящик стола и что-то взял из него.

– Как вам будет угодно. Я говорил о модели «Т» новой технологии, о ее примитивном начале. Такой, знаете ли, сон о дубине. Публика на ура подхватила флагелляцию, дефенестрацию⁹, это было *felicitas per extractionem pedum*¹⁰. Но фантазия столь убогая быстро себя исчерпала. Чего вы хотите – выдумки не хватало, не было образцов! Ведь в истории только добро практиковали открыто, а зло – под маской добра, под благовидным предлогом, грабя, громя и насилуя во имя высших идеалов. Ну а приватное зло даже и таких путеводных звезд не имело. Все-то оно по углам таилось, грубое, топорное, примитивное. Это видно по реакции публики; в заказах без конца повторяется одно и то же: налететь, задавить и скрыться. Такой уж выработался навык. А ведь людям мало просто творить зло – им подавай еще сознание своей правоты. Потому что, видите ли, не очень удобно, если ближний, на минуту опомнившись (а это всегда может случиться), начинает голосить «за что?!» или «как не стыдно?!». Неприятно, когда крыть нечем. Дубина – недостаточный контраргумент, это чувствует каждый. Задача в том, чтобы неуместные эти претензии презрительно отклонить – с единственно верных позиций. Каждый не прочь попокастничать, но так, чтобы этого не стыдиться. Лучше всего – под видом мести, но чем виновата перед тобою Жанна д'Арк? Тем, что она лучше, выше тебя? Тогда, значит, ты хуже, хотя и с дубиной. Но такого никто себе не желает! Каждому хочется совершать зло, побыть хоть немного мерзавцем и извергом, оставаясь, однако ж, великодушным и благородным – прямо-таки бесподобным. Вот чего требуют все. Все и всегда. Чем хуже ты, тем бесподобнее. Это почти невозможно и потому-то заманчиво. Мало клиенту навывтвоять невесть что со вдовами и сиротами – он желает проделать все это в ореоле незапятнанной добродетели. Преступников никто и пальцем не хочет тронуть, хотя где, как не тут, можно действовать с чистой совестью, во имя закона, – но это банально и скучно, и без того по ним плачет виселица. Подавай клиенту ангельскую невинность, беспримерную святость, но так обработанную, чтобы мог он разгуляться вовсю, в убеждении, что не только может, но прямо-таки должен. Теперь вам понятно, какое это искусство – примирять подобные противоречия? Речь, в конце концов, всегда идет о духе, а не о теле. Тело – всего лишь средство. Конечно, подобные тонкости чужды многим нашим клиентам. Для них у нас есть отделение доктора Гопкинса – биологии мирской и сакральной. Ну, знаете, – Долина Иосафата, из

⁹ Выбрасывание из окна.

¹⁰ Счастье путем вырывания ног (лат.).

которой всех, кроме клиента, черти уносят, а на исходе Судного дня Господь Бог самолично объявляет его святым, и даже с подобострастием. Некоторые (но это снобизм кретинов) домогаются, чтобы под конец Господь предложил им поменяться с ним местами. Это, знаете ли, ребячество. Американцы к нему особенно склонны. Разные там вырваторы, бияльни, – он с отвращением помахал толстым каталогом, – что за убожество! Ближние – это вам не бубен какой-нибудь, это инструмент деликатный!

– Погодите, – сказал я, проглотив очередную таблетку трынтравинила, – так что же вы, собственно, проектируете?

Он горделиво усмехнулся:

– Безбит-композиции.

– А биты – единицы информации?

– Нет, господин Тихий. Единицы битья. В своих композициях я принципиально ими не пользуюсь. Мои проекты измеряются в бедах. Один бед – это количество горя, которое ощущает *pater familias*¹¹, когда семью из шести душ приканчивают у него на глазах. По этой шкале Всевышний огорошил Иова трехбедкой, а Содом и Гоморра были Господними сорокабедами. Но довольно цифр. Ведь я, по сути, художник и творю на совершенно девственной почве. Теорию добра развивали толпы мыслителей, теории зла почти никто не касался – из ложного стыда, а в результате ее прибрали к рукам недоумки и неучи. Мнение, будто можно злодействовать искусно, изобретательно, тонко и хитроумно без тренировки, навыков, вдохновения, без глубоких познаний, – в корне ошибочно. Тут мало инквизитуры, тиранистики, обеих биелогий; все это лишь введение в проблему как таковую. Впрочем, универсальных рецептов нет – *suum malum cuique*¹²!

– И много у вас клиентов?

— Все без исключения – наши клиенты. Начинается это с детства. Ребятишкам дают отцебийственные леденцы для разрядки враждебных эмоций. Отец, как вы знаете, – источник запретов и норм. Даем детям фрейдилки, и эдипова комплекса как не бывало!

Я вышел от него, израсходовав трынтравинил до последней таблетки. Вот оно, значит, что. Ну и общество! Не оттого ли они так задыхаются? Я окружен чудовищами.

30.IX.2039. Не знаю, как вести себя с Симингтоном, но наши отношения прежними оставаться не могут. Эйлин мне посоветовала:

¹¹ Отец семейства (лат.).

¹² Каждому свое зло (лат.).

– А ты закажи себе его упадлинку! Я тебе подарю, хочешь?

Другими словами, она предлагала заказать в «Прокрустикс» сцену моего триумфа над Симингтоном, где он валялся бы у меня в ногах и признавался, что сам он, его фирма и его ремесло – омерзительны. Но я не могу прибегнуть к методу Симингтона, чтобы на Симингтоне отыгаться! Эйлин этого не понять. Что-то разладилось между нами. От тетки она вернулась, став плотнее и ниже ростом, только шея заметно вытянулась. Бог с ним, с телом, душа гораздо важнее, как говорил этот монстр. Как мало я понимал в мире, в котором обречен жить! Теперь я вижу многое, чего раньше не замечал. Я уже понимаю, что делал в патио мой сосед, так называемый стигматик; я знаю: если на светском приеме мой собеседник, извинившись, тактично удаляется в угол и нюхает там свое зелье, не отрывая от меня взгляда, то мой безукоризненно точный образ погружается в пекло его разъяренной фантазии! И так поступают особы из высших химиократических сфер! А я этих гадостей не замечал, ослепленный изысканной вежливостью! Подкрепившись ложкой геркуледина на сахаре, я поломал все бонбоньерки, вдребезги разбил ампулы, пузырьки, флаконы, пилюльницы, которые надарила мне Эйлин. Теперь я готов на все. Временами меня охватывает такая ярость, что я прямо жажду визита какого-нибудь интерферента – вот на ком бы я отыгрался! Рассудок подсказывает, что я мог бы и сам все устроить, а не ждать с дубиной в руках – купить, например, надуванца. Но если уж покупать манекен, то почему бы не дамекен? Если же дамекен – почему бы не человенца? А если, сто чертей побери, человенца – почему бы не заказать у Гопкинса, в филиале «Прокрустикс инк.», подходящую кару, не насрать какой-нибудь дождь из серы, смолы и огня на этот чудовищный мир? В том-то и закавыка, что не могу. Я все должен сам, все сам – сам! Ужасно.

1.X.2039. Сегодня дело дошло до разрыва. Она показала мне две пилюли, белую и черную, – чтобы я посоветовал, какую ей принять. Значит, даже такой, сугубо интимный вопрос она не могла решить естественным образом, без психимикатов! Я вспылил, началась ссора, а Эйлин еще подлила масла в огонь, приняв *скандалол*. Она заявила, будто я, идя на свидание, наглотался *оскорбиновой кислоты* (так она и сказала). То были тягостные минуты, но я остался верен себе. Отныне буду есть только дома и лишь то, что сам приготовлю. Никаких снов, никакого парадизина, долой аллилулоидное желе. Гедонизаторы я разбил – все до единого. Ни протестол, ни возразин мне не нужен. В окно заглядывает большая птица с печальным взглядом, очень странная – на колесиках. Компьютер говорит, педеролла.

2.X.2039. Почти не выхожу из дому. Поглощаю труды по истории и математике. Иногда включаю ревизор. Но и тогда мое естество бунтует против всего окружающего.

Вчера, например, решил покрутить регулятор солидности, то есть собственного веса изображения, чтобы сделать его поплотнее и поувесистее. Стол диктора треснул под тяжестью текста вечерних известий, а сам он провалился сквозь пол студии. Разумеется, эти эффекты наблюдались у меня одного, последствий никаких не имели и лишь свидетельствовали о состоянии моих нервов. К тому же раздражает меня в ревидении юморков, шуточек, нынешние комедийные трюки. «Нет спасенья без пилюль, говорил святой Илюль». Какая пошлость! Одни названия передач чего стоят... Например, «С надуванкой на эротоцикле» – криминальная драма, которая начинается с того, что в темном бистро сидит компания роботрясов. Я выключил – был уже сыт по горло. Но что с того, если у соседей гремел по другому каналу новейший шлягер (но где же мой канал? где?!): «В ридикюлях у фемин распустин и нимфомин». Неужели и в XXI веке нельзя изолировать живальню как следует?! Сегодня мне опять захотелось покрутить солидатор ревизора; в конце концов я сломал его. Нужно взять себя в руки и что-то решить. Но что? Все меня раздражает, малейший пустяк, даже почта – предложение того бюро на углу выставить свою кандидатуру на Нобелевскую премию, обещают устроить в первую очередь, как гостю из мрачного прошлого. Ей-богу, я лопну от злости! Кроме шуток! Подозрительная листовка с рекламой «тайных пилюль, которых нет в обычной продаже». Страшно подумать, для чего они предназначены. Листовка с советом избегать спекулянтов – торговцев запрещенным снивом. И тут же – призыв не смотреть стихийные, неуправляемые сны; это, мол, разбазаривание нервной энергии. Какая забота о гражданах! Заказал себе сниво из Столетней войны: проснулся – все тело в сняках.

3.X.2039. По-прежнему веду одинокую жизнь. Сегодня, просматривая ежеквартальник «Родная бустория» (я только что на него подписался), с изумлением наткнулся на имя профессора Троттельрайнера. Опять пробудились мои наихудшие опасения. А вдруг все, что я вижу и чувствую, – непрерывная цепь фантомов и миражей? В принципе это возможно. Разве «Психоматикс» не расхваливает слоистые пилюли (стратилки), вызывающие многослойные видения? Кого-то, к примеру, увлек сюжет «Наполеон под Маренго»; сражение выиграно, но к яви жаль возвращаться, и здесь же, на поле битвы, маршал Ней или кто там еще из старой гвардии преподносит ему на серебряном блюде другую пилюлю – иллюзорную, конечно, но это не важно, – главное, она открывает ворота в очередную галлюцинацию *ad libitum*¹³[13]. Гордиевы узлы я привык разрубать сам; поэтому, проглотив телефонную книгу, чтоб узнать номер, я позвонил Троттельрайнеру. Это он! Встретимся за ужином.

¹³ На выбор (лат.).

3.X.2039. Три часа ночи. Пишу смертельно усталый, с поседевшей душой. Профессор опаздывал, пришлось его ждать. В ресторан он пришел пешком. Я узнал его издали, хотя теперь он гораздо моложе, чем в прошлом веке, и к тому же не носит ни зонта, ни очков. Увидев меня, он, похоже, растрогался.

– Вы, я вижу, не на машине? – спросил я. – Что, автобрык? (Самовзбрыкивание автомобиля, это случается.)

– Нет, – ответил профессор. – Я уж лучше *per pedes apostolorum*¹⁴... – Но как-то странно усмехнулся при этом.

Когда кельпьютеры отошли, я стал расспрашивать, чем он занимается, – и сразу проговорился о своих подозрениях насчет галлюцинаций.

– Да что вы, Тихий, ей-богу! Какие галлюцинации? – возмутился профессор. – Так и я мог бы подозревать, что вы мне мерещитесь. Вас заморозили? Меня тоже. Вас разморозили? И меня разморозили. Меня еще, правда, омолодили, ну, реювенил, десенилизин, вам это ни к чему, а я, если бы не основательное омоложение, не мог бы работать бусториком.

– Футурологом?

– Теперь это слово означает нечто иное. Футуролог готовит будильники, то есть прогнозы, а я занимаюсь теорией. Дело совершенно новое, в нашу с вами эпоху неизвестное. Что-то вроде языкового предсказания будущего – лингвистическая прогностика!

— Не слышал. И в чем же она состоит?

Я спрашивал больше из вежливости, но он этого не заметил. Кельпьютеры принесли нам заказ. К супу подали шабли урожая 1997 года. Хорошая марка, я ее потому и выбрал, что очень люблю.

– Лингвистическая футурология изучает грядущее, исходя из трансформационных возможностей языка, – объяснил Троттельрайнер.

– Не понимаю.

– Человек в состоянии овладеть только тем, что может понять, а понять он может только то, что выражено словами. Не выраженное словами ему недоступно. Исследуя этапы будущей эволюции языка, мы узнаём, какие открытия, перевороты, изменения нравов язык сможет когда-нибудь отразить.

– Очень странно. А на практике как это выглядит?

– Исследования ведутся при помощи самых больших компьютеров: человек не может перепробовать все варианты. Дело главным образом в вариативности языка –

¹⁴ Апостольскими стопами, то есть пешком (лат.).

синтагматически-парадигматической, но квантованной...

– Профессор!

– Извините. Шабли, скажу я вам, превосходное. Легче всего это понять на примерах. Дайте, пожалуйста, какое-нибудь слово.

– Я.

– Как? «Я»? Гм-м... Я. Хорошо. Мне придется в некотором роде заменять собою компьютер, так что я упрощу процедуру. Итак: Я – явь. Ты – тывь. Мы – мывь. Видите?

– Ничего я не вижу.

– Ну как же? Речь идет о слиянии яви с тывью, то есть о парном сознании, это во-первых. Во-вторых, мывь. Чрезвычайно любопытно. Это ведь множественное сознание. Ну, к примеру, при сильном расщеплении личности. А теперь еще какое-нибудь слово.

– Нога.

– Прекрасно. Что мы извлечем из ноги? Ногатор. Ноголь или гоголь-ноголь. Ногер, ногиня, ноглеть и ножиться. Разножение. Изноженный. Но-о-гом! Ногола! Ногнем? Ногист. Вот видите, кое-что получилось. Ногист. Ногистика.

– Но что это значит? Ведь эти слова не имеют смысла?

– Пока не имеют, но будут иметь. То есть могут получить смысл, если ногистика и ногизм привьются. Слово «робот» ничего не значило в XV веке, а будь у них языковая футурология, они, глядишь, и додумались бы до автоматов.

– Так что такое ногист?

– Видите ли, как раз тут я могу ответить наверняка, но лишь потому, что речь идет не о будущем, а о настоящем. Ногизм – новейшая концепция, новое направление автоэволюции человека, так называемого *homo sapiens monopedes*.

– Одноногого?

– Вот именно. Потому что ходьба становится анахронизмом, а свободного места все меньше и меньше.

– Но это же чепуха!

– Согласен. Однако такие знаменитости, как профессор Хацелькляцер и Фёшбин, – ногисты. Вы не знали об этом, предлагая мне слово «нога», не так ли?

– Нет. А что значат другие ваши словечки?

– Вот это пока неизвестно. Если ногизм победит, появятся и такие объекты, как ноголь, ногиня и прочее. Ведь я, дорогой коллега, не занимаюсь пророчествами, я изучаю возможности в чистом виде. Дайте-ка еще слово.

– Интерферент.

– Отлично. Интер и феро, fero, ferre, tuli, latum¹⁵. Раз слово заимствовано из латыни, в латыни и следует искать варианты. Flos, floris. Интерфлорентка. Пожалуйста – это девушка, у которой ребенок от интерферента, отнявшего у нее венюк.

– Венюк-то откуда взялся?

– Flos, floris – цветок. Лишение девичества – дефлорация. Наверное, будут говорить «ревиденец» – ревизионно зачатый младенец. Уверяю вас, мы уже собрали интереснейший материал. Взять хотя бы проституанту – от конституанты, – да тут открывается целый мир будущей нравственности!

– Вы, я вижу, энтузиаст этой новой науки. А может, попробуем еще одно слово? Мусор.

– Почему бы и нет? Ничего, что вы такой скептик. Пожалуйста. Итак... Мусор. Гм... Намусорить. Астрономически много мусора – космусор. Мусороздание. Мусороздание! Весьма любопытно. Вы превосходно выбираете слова, господин Тихий! Подумать только, мусороздание!



– А что тут такого? Это же ничего не значит.

– Во-первых, теперь говорят: не фармачит. «Не значит» – анахронизм. Вы, я

¹⁵ Различные формы латинского глагола «fero» – «нести».

заметил, избегаете новых слов. Нехорошо! Мы еще потолкуем об этом. А во-вторых, мусороздание пока ничего не значит, но можно догадываться о его будущем смысле! Речь, знаете ли, идет ни больше ни меньше как о новой космологической теории. Да, да! О том, что звезды – искусственного происхождения!

– А это откуда следует?

– Из слова «мусороздание». Оно означает, точнее, заставляет предположить такую картину: за миллиарды лет мироздание заполнилось мусором – отходами жизнедеятельности цивилизаций. Девать его было некуда, а он мешал астрономическим наблюдениям и космическим путешествиям; так что пришлось развести костры, большие и очень жаркие, чтобы весь этот мусор сжигать, понимаете? Они обладают, конечно, изрядной массой и поэтому сами притягивают космосор; постепенно пустота очищается, и вот мы имеем звезды, те самые космические костры, и темные туманности – еще не убранный хлам.

– Вы это что, серьезно? Серьезно допускаете такую возможность? Вселенная как всеожжение мусора?

– Дело не в том, Тихий, допускаю я или нет. Просто благодаря лингвистической футурологии мы создали новый вариант космогонии для будущих поколений! Неизвестно, примет ли его кто-нибудь всерьез; несомненно одно: такую гипотезу можно словесно выразить! Обратите внимание: если бы в двадцатом веке существовала языковая экстраполяция, можно было бы предсказать *бумбы* — вы их, я думаю, помните! – образовав это слово от бомб. Возможности языка, господин Тихий, колоссальны, хотя и безграничны. Например, «утопиться»: представив, что это слово восходит к «утопии», вы поймете, почему так много футурологов-пессимистов!

Наконец речь зашла о том, что гораздо больше меня занимало. Я рассказал ему о своих опасениях и своем отвращении к новой цивилизации. Он возмутился, но слушал внимательно и – добрая душа! – посочувствовал мне. Он даже потянулся к жилетному карманчику за сострадалолом, но остановился, вспомнив о моей неприязни к психимикатам. Однако, когда я договорил, лицо его приняло строгое выражение.

– Плохи ваши дела, Тихий. Ваши жалобы не затрагивают сути вещей. Она вам попросту неизвестна. Вы даже не догадываетесь о самом главном. По сравнению с этим «Прокрустикс» и вся остальная псцивилизация – мелочь!

Я не верил своим ушам.

– Но... но... – заикался я. – Что вы такое говорите, профессор? Что может быть еще хуже?

Он наклонился ко мне через столик:

– Тихий, я открою вам профессиональную тайну. О том, на что вы сейчас

жаловались, знает каждый ребенок. Развитие и не могло пойти по другому пути с тех пор, как на смену наркотикам и прагаллюциногенам пришли так называемые психолокализаторы с высокой избирательностью воздействия. Но настоящий переворот совершился лишь четверть века назад, когда удалось синтезировать масконы, или пуантогены, – то есть точечные галлюциногены. Наркотики не изолируют от мира, а только изменяют его восприятие. Галлюциногены заслоняют собою весь мир, в этом вы убедились сами. Масконы же мир подделывают!

– Масконы... масконы... – повторил я за ним. – Знакомое слово. А-а, концентрации массы под лунной корой, глубинные скопления минералов? Но что у них общего?..

– Ничего. Теперь это слово значит – то есть фармачит – нечто совершенно иное. Оно образовано от «маски». Вводя в мозг масконы определенного рода, можно заслонить любой реальный объект иллюзорным – так искусно, что замаскированное лицо не узнает, какие из окружающих предметов реальны, а какие – всего лишь фантом. Если бы вы хоть на миг увидели мир, в котором живете на самом деле, — а не этот, припудренный и нарумяненный масконами, – вы бы слетели со стула!

– Погодите. Какой еще мир? И где он? Где его можно увидеть?

– Где угодно – хоть здесь! – выдохнул он мне в самое ухо, озираясь по сторонам. Он придвинулся ближе и, протягивая мне под столом стеклянный флакончик с притертой пробкой, доверительно прошептал: – Это очухан, из группы отрезвинов, сильнейшее противопсихимическое средство, нитропакостная производная омерзина. Даже иметь его при себе, не говоря уж о прочем, – тягчайшее преступление! Откройте флакон под столом и вдохните носом, один только раз, не больше, как аммиак. Ну как нюхательные соли. Но потом... Ради всего святого! Помните: нельзя терять голову!

Трясущимися руками я отвернул пробку и едва вдохнул резкий миндальный запах, как профессор отнял у меня флакон. Крупные слезы выступили на глазах: я смахнул их кончиками пальцев и остолбенел. Великолепный, покрытый паласами зал, со множеством пальм, со столами, заставленными хрусталем, с майоликовыми стенами и скрытым от глаз оркестром, под музыку которого мы смаковали жаркое, – исчез. Мы сидели в бетонированном бункере, за грубым деревянным столом, под ногами лежала потрепанная соломенная циновка. Музыка звучала по-прежнему – из репродуктора, который висел на ржавой проволоке. Вместо сверкающих хрусталем люстр – голые, запыленные лампочки. Но самое ужасное превращение произошло на столе. Белоснежная скатерть исчезла; серебряное блюдо с запеченной в гренках куропаткой обернулось дешевой тарелкой с серо-коричневым месивом, прилипавшим к алюминиевой вилке, – потому что старинное серебро столовых приборов тоже погасло. В оцепенении смотрел я на эту гадость, которую только что с удовольствием

разделявал, наслаждаясь хрустом подрумяненной корочки, который, как в контрапункте, прерывался более низким похрустыванием разрезаемого гренка – сверху отлично подсушенного, снизу пропитанного соусом. Ветви пальмы, стоявшей неподалеку, оказались тесемками от кальсон: какой-то субъект сидел в компании трех приятелей прямо над нами – не на антресоли, а скорее на полке, настолько она была узка. Давка здесь царила невероятная! Я боялся, что глаза у меня вылезут из орбит, но ужасающее видение дрогнуло и стало опять расплываться, словно по волшебству. Тесемки над моей головой зазеленели и снова покрылись листьями, помойное ведро, смердящее за версту, превратилось в резную цветочную кадку, грязный стол заискрился белоснежной скатертью. Засверкали хрустальные рюмки, серое месиво вернуло себе утонченные оттенки жаркого; где положено, выросли у него ножки и крылышки; старинным серебром заблестел алюминий, фраки официантов снова замелькали вокруг. Я посмотрел под ноги: солома обернулась персидским ковром, и я, опять окруженный роскошью, уставился на румяную грудку куропатки, тяжело дыша, не в силах забыть того, что за нею скрывалось...



– Вот теперь вы начинаете разбираться в действительности, – доверительно шептал Троттельрайнер; при этом он заглядывал мне в глаза, как будто опасался слишком бурной реакции. – А ведь мы, заметьте, находимся в заведении экстра-класса! Хорошо еще, что я заранее это предусмотрел; в другом ресторане у вас бы просто помрачился рассудок!

– Как? Значит... есть... еще отвратительнее?

– Да.

– Не может быть.

– Уверяю вас. Здесь хоть настоящие стулья, столы, тарелки и вилки, а там мы лежали бы на многоярусных нарах и ели руками из чанов, подвозимых конвейером. То, что скрывается под маскою куропатки, там еще несъедобнее.

– Что же это?!

– Да нет, Тихий, не отравка какая-нибудь. Это концентрат из травы и кормовой свеклы, вымоченный в хлорированной воде и смешанный с рыбной мукой; обычно туда добавляют витамины и костный клей и все это сдабривают смазочным маслом, чтоб не застряло в горле. Вы не почувствовали запаха?

– Почувствовал! Очень даже почувствовал!!!

– Вот видите.

– Ради бога, профессор... что это? Ответьте, заклинаю вас! Обман? План истребления всего человечества? Дьявольский заговор?

– Да что вы, Тихий. Дьявол тут ни при чем. Это попросту мир, в котором живут двадцать с лишним миллиардов людей. Вы читали сегодня «Геральд»? Пакистанское правительство утверждает, что от голода в этом году погибло лишь 970 тысяч человек, а оппозиция – что шесть миллионов. Откуда возьмутся в таком мире шабли, куропатки, закуски в соусе беарнэ? Последние куропатки вымерли четверть века назад. Наш мир – давно уже труп, прекрасно сохранившийся, поскольку его все искуснее мумифицируют. В маскировке мы добились немалых успехов.

– Погодите! Дайте собраться с мыслями... Так это значит, что...

– Что никто не желает вам зла, напротив – как раз из жалости, из соображений высшей гуманности выдуман химический блеф, камуфляж, расцветивание беспросветной реальности...

– Выходит, это жульничество повсюду?

– Увы.

– Но я не обедаю в городе, я готовлю все сам, так как же, когда же?..

– Как распространяют масконы? И вы еще спрашиваете? Они постоянно распыляются в воздухе. Помните костариканские аэрозоли? То были первые робкие попытки, все равно что монгольфьер по сравнению с ракетой.

– И все знают об этом? И живут как ни в чем не бывало?

– Ничего подобного. Об этом не знает никто.

– И ни слухов, ни разговоров?

– Слухи есть всегда и везде. Не забывайте, однако, об амнестане. Есть то, что известно каждому, и то, что никому не известно. Фармакократия имеет явную и скрытую часть; скрытая гораздо важнее.

– Не может быть.

– О! Почему же?

– Да ведь кто-то должен постелить эти циновки, изготовить тарелки, из которых мы на самом деле едим, и сварить это месиво, подделывающееся под куропатку! И всё, всё!

– Ну конечно. Все должно быть изготовлено, но что из того?

– Те, кто занимается этим, видят и знают!

– Не обязательно. Вы все еще мыслите допотопными категориями. Люди думают, что идут на стеклянную фабрику-оранжерею; у проходной получают противогаллюцин и замечают голые бетонные стены.

– И все же работают?

– Приняв дозу сакрофицина – с огромным энтузиазмом. Труд становится для них высшей целью, священным долгом; после смены – глоток амнестана или мемнолизина, и все увиденное забывается напрочь!

– До сих пор я боялся, что живу среди призраков, но теперь понимаю, каким я был дураком! Боже, как я хочу вернуться! За это я все бы отдал!

– Вернуться? Куда?

– В канал под отелем «Хилтон».

– Чушь. Вы ведете себя безрассудно, чтобы не сказать глупо. Будьте как все, ешьте и пейте, как остальные, и вы получите необходимые дозы оптимистана, серафинола и будете в превосходнейшем настроении.

– Значит, вы тоже адвокат дьявола?

– Будьте благоразумны. Что дьявольского в том, что врач обманывает больного для его же пользы? Раз уж мы вынуждены так жить, есть и пить – лучше видеть все это в розовом свете. Масконы действуют безотказно, за одним-единственным исключением, так что в них плохого?

– Я не в силах вам возражать, – уже спокойнее сказал я. – Только ответьте, пожалуйста, мне как старинному другу: о каком исключении в действии масконов вы говорили? И как дошло до всеобщего разоружения? Или это тоже мираж?

– Нет, оно, слава богу, совершенно реально. Но чтобы все это объяснить, пришлось бы прочесть целую лекцию, а мне пора идти.

Мы договорились встретиться завтра; на прощание я опять спросил об изъяне масконов.

– Сходите-ка в луна-парк, – ответил профессор вставая. – Если вам хочется неприятных сюрпризов, сядьте на гигантскую карусель, а когда она разгонится до предела, продырявьте ножиком стенку кабины. Кабина как раз затем и нужна, что фантазиды, которыми маскон заслоняет реальность, при вращении перемещаются –

словно центробежная сила срывает с ваших глаз шторы... Вы увидите, что появится тогда вместо дивных иллюзий...

Я пишу это ночью, в четвертом часу, совершенно убитый. Что еще могу я добавить? Не бежать ли от цивилизации куда-нибудь в дикую глушь? Даже Галактика больше не манит меня, как не манят нас путешествия, если некуда из них возвратиться.

* * *

5.X.2039. Все свободное утро бродил по городу. Едва скрывая свой ужас, смотрел на всеобщую роскошь и великолепие. Картинная галерея в Манхэттене предлагает за бесценок мебель в стиле рококо, мраморные каминные, троны, зеркала, сарацинские доспехи. Кругом всевозможные аукционы – дома дешевле грибов. А я-то думал, будто живу в раю, где каждый может позволить себе «подворцовать»! Бюро регистрации самозванных кандидатов в нобелевские лауреаты на Пятой авеню открыло передо мной свое истинное лицо: премию может получить кто угодно и кто угодно может увешать квартиру шедеврами живописи, если и то и другое – просто щепотка воздействующего на мозг порошка! Но самое коварное вот что: каждый знает о некоторой части коллективных галлюцинаций и поэтому верит, будто можно отграничить иллюзорный мир от реального. Различие между искусственным и естественным чувством стерлось; произвольно ни-кто ни на что не реагирует – учась, любя, бунтуя и забывая химически. Я шел по улице, сжимая кулаки в карманах. О, мне не нужен был амокомин и фуриазол, чтобы прийти в бешенство! По-охотничьи обостренным чутьем я отыскивал все пустоты в этом монументальном жульничестве, в этой декорации, уходящей за горизонт. Детям дают отцебийственный сиропчик, потом, для развития личности, бунтомид и протестол, а чтобы обуздать пробужденные ими порывы – субординал и кооперин. Полиции нет – и зачем, если есть криминол? Преступные аппетиты насыщает «Прокрустикс инк.». Хорошо, что я не заглядывал в теоглотеки – я нашел бы в них только наборы вероукрепляющих и душеутоляющих препаратов, фарморалин, грехогон, абсолюцид и так далее, а при помощи сакросанктола можно стать и святым. Впрочем, почему бы не выбрать аллахол с исламином, дзен-окись буддина, мистициновый нирваний или теоконтактол? Эсхатопрепараты, некринная мазь выдвинут тебя в первые ряды праведников в Долине Иосафата, а несколько капель воскресина на сахаре довершат остальное. О Фармадонна! Парадизол для святош, адомин и сатанций для мазохистов... Я с трудом сдержался, чтобы не ворваться в попавшееся на пути фармацевтилице, где народ отбивал поклоны, наглотавшись перед тем преклонина, а то, чего доброго, меня угостили бы амнестаном. Ну уж нет. Только не это! Я отправился в луна-парк, вспотевшими пальцами вертя в

кармане перочинный нож. Эксперимент не удался: стенка кабины оказалась удивительно твердой, должно быть, из закаленной стали.

Троттельрайнер жил в меблированных комнатах на Пятой авеню. Я пришел вовремя, но профессора не застал; впрочем, он предупредил, что может задержаться, и дал мне хозяйский свисток для дверья. Поэтому я вошел и сел за письменный стол, заваленный научными журналами и рукописями. От нечего делать – или, скорее, чтобы заглушить тревогу, грызущую меня изнутри, – я заглянул в заметки профессора. «Мусороздание», «ревиденец», «чуждинник», «чуждинница». Ах, так он еще находил время, чтобы записывать термины этой чудной футурологии... «Плодотворня», «вырыванец», «вырыванка». «Рекордительница» – родительница-рекордистка? Ну да, при демографическом взрыве, наверное. Ежесекундно рождалось восемьдесят тысяч детей. Или восемьсот тысяч. Что за разница? «Мыслист», «мыслянт», «мысль», «коренная», или «дышловая», мысль, «мыслина» – «дышлина». Профессор, ты вот здесь пишешь, а там мир погибает! – чуть было не крикнул я. Под бумагами что-то блеснуло – противогаллюцин, тот самый флакончик. Какую-то долю секунды я колебался, потом, решившись, осторожно вдохнул и огляделся вокруг.

Удивительно: комната почти не изменилась! Книжные шкафы, полки со справочными пилюлями – все осталось как прежде, только огромная голландская печь в углу, наполнявшая комнату матовым блеском своих изразцов, превратилась в так называемую «буржуйку» с прожженной насквозь жестяной трубой, выведенной через дыру в стене; пол возле печки был в черных оспинах. Я быстро, по-воровски, поставил флакон на место – в передней послышался свист, и вошел Троттельрайнер.

Я рассказал ему о луна-парке. Он удивился, попросил показать ножик, покачал головой, взял флакон со стола, понюхал, а потом дал понюхать мне. Вместо ножа у меня в руках оказалась трухлявая веточка. Я поднял глаза на профессора – он как-то сник, выглядел куда менее уверенным в себе, чем накануне. Троттельрайнер положил на письменный стол папку, распухшую от реферативных леденцов, и вздохнул.

– Тихий, – сказал он, – поймите: экспансия масконов не вызвана чьим-то коварством...

– Какая еще экспансия?

– Многие вещи, реальные год или месяц назад, приходится заменять миражами, по мере того как подлинные становятся недоступными, – объяснил он, явно озабоченный чем-то другим. – На этой карусели я катался месяца три назад, но не поручусь, что она еще там стоит. Может быть, вместе с билетом вы получаете порцию карусельного пара (лунапаркина) из распылителя; это было бы, впрочем, гораздо экономичнее. Да, да, Тихий, сфера реального тает с невиданной быстротой. Прежде

чем поселиться тут, я остановился в новом «Хилтоне», но, признаюсь, не смог там жить. Вдохнув по рассеянности очухан, я увидел себя в каморке размерами с большой ящик, нос мой упирался в кормушку, под ребра давил водопроводный кран, а ноги касались изголовья кровати в соседнем ящике, то бишь апартаментах – меня поселили в номере на восьмом этаже, за 90 долларов в сутки. Места, обыкновенного места катастрофически не хватает! Проводятся опыты с псивидимками – психимическими невидимками; но результаты не обнадеживают. Если маскировать огромные толпы на улице, выделяя лишь отдельных прохожих вдальеке, получится всеобщая давка; тут наука пока бессильна.

– Профессор, я заглянул в ваши заметки. Прошу прощения, но что это? – Я указал на листок бумаги со словами «мультишизол», «уплотнитель множелина».

– А, это... Видите ли, существует план или, скорее, идея хинтернизации (по имени автора Эгоберта Хинтерна) – восполнять нехватку внешнего пространства иллюзорным внутренним, то есть пространством души, метраж которой физическим ограничениям не подлежит. Вам, должно быть, известно, что благодаря различным зооформинам можно на время стать – то есть почувствовать себя – черепахой, муравьем, божьей коровкой и даже жасмином (при помощи инфлоризирующего преботанида). Можно расщеплять свою личность на две, три, четыре и больше частей, а если дойти до двузначных цифр, наблюдается феномен уплотнения яви: тут уж не явь, а мывь, множество «я» в единой плоти. Есть еще усилители яви, интенсифицирующие внутреннюю жизнь до такой степени, что она становится реальнее внешней. Таков ныне мир, таковы времена, коллега! *Omnis est Pillula*¹⁶. Фармакопепя теперь – Книга судеб, альфа и омега, энциклопедия бытия; никаких переворотов не ожидается, раз уж есть бунтомид, оппозиционал в глицириновых свечах и экстремин, а доктор Гопкинс рекламирует содомастол и гоморроетки – можно спалить небесным огнем столько городов, сколько душе угодно. Должность Господа Бога тоже вполне доступна, цена ей семьдесят пять центов.

— А еще появилось такое искусство – зудожество, – заметил я. – Я слышал... нет, осязал «Скерцо» Уаскотиана. Не скажу, чтобы оно доставило мне эстетическое наслаждение. Я смеялся в самых серьезных местах.

– Да, это все не для нас, мерзлянтропов, потерпевших крушение во времени, – меланхолически подтвердил Троттельрайнер. Словно бы что-то преодолев в себе, он откашлялся, посмотрел мне в глаза и сказал: – Как раз сейчас, Тихий, начинается конгресс футурологов, иначе говоря, дискуссия о бустории человечества. Это LXXVI

¹⁶ Все сущее – пиллюля (лат.).

Всемирный съезд; сегодня я был на первом заседании оргкомитета и хочу поделиться впечатлениями...

– Странно! Я читаю газеты довольно внимательно – нигде ни строчки об этом конгрессе...

– Потому что он тайный. Вам понятно, я думаю: ведь среди прочих будут обсуждаться проблемы химаскировки!

– И что? Дело плохо?

– Ужасно! – произнес профессор с нажимом. – Хуже и быть не может!

– А вчера вы пели другие песни, – заметил я.

– Верно. Но учтите, пожалуйста, мое положение – я только сейчас знакомлюсь с последними результатами исследований. То, что я слышал сегодня... это, знаете ли... впрочем, сами можете убедиться.

Он достал из папки целую связку информационных леденцов – их палочки были перевязаны разноцветными ленточками – и протянул ее мне через стол.

– Прежде чем вы это пролизжете, я вам кое-что объясню. Фармакократия – это психимиократия, основанная на жирократии. Вот девиз Новой эры. А проще сказать: всевластию галлюциногенов сопутствует подкуп. Впрочем, иначе не видать бы нам всеобщего разоружения.

– Наконец-то я узнаю, как это случилось!

– Да очень просто. Подкуп нужен либо для сбыта неходовых товаров, либо для приобретения дефицитных. Товаром, впрочем, могут быть и услуги. Мечта бизнесмена – загрэбать наличные, ничего не давая взамен. Вполне вероятно, что начало реализу положили аферы киберрастратчиков, – вы, наверно, о них слышали.

– Слышал, но что такое реализ?

– Буквально – растворение, то есть исчезновение реальности. Когда разразился скандал с киберрастратами, всё свалили на цифровые машины. На самом же деле тут были замешаны могущественные консорциумы и тайные картели. Видите ли, речь шла о создании на планетах условий, пригодных для жизни, – актуальнейшая проблема в эпоху перенаселения! Предстояло построить огромные ракетные флотилии, изменить климат, преобразовать атмосферы Сатурна и Урана; легче всего было делать это на бумаге – и только.

– Позвольте, но это сразу же бы обнаружилось! – удивился я.

– Ничего подобного. По ходу дела появляются объективные трудности, непредвиденные проблемы, помехи, препятствия, запрашиваются новые ассигнования и кредиты. Проект освоения Урана, к примеру, поглотил уже девятьсот восемьдесят миллиардов, между тем неизвестно, сдвинули там хоть камешек или нет.

– А проверочные комиссии?

– Не составлять же комиссии из космонавтов, а неподготовленный человек высадиться на этих планетах не может. Поэтому уполномоченные изучают документы, фотоснимки, статистику. Но отчетность нетрудно подделать, а еще проще прибегнуть к масконам.

– Ага!

– Вот именно. Как раз таким образом, я полагаю, и началась в свое время имитация вооружений. Ведь фирмы, работающие на войну, являются частной собственностью. Они получали миллиарды и ничего не делали; то есть выпускали, конечно, лазерные пушки, ракетные установки, против-противо-противо-противоракеты (в арсеналах уже шестое их поколение), летающие танки (летанки) – но все это пуантогенное.

– Извините, какое?

– Иллюзорное, дорогой мой. К чему ядерные испытания, если имеются микопастилки?

– То есть?..

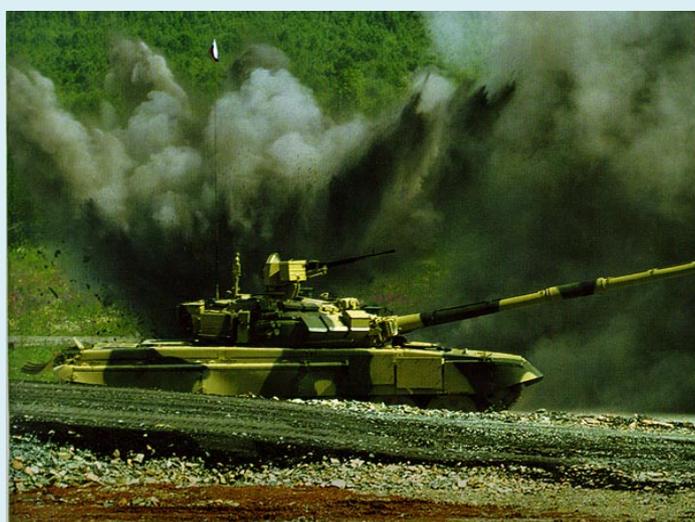
– Пастилки, вызывающие видение атомного гриба. Это была цепная реакция. Зачем муштровывать солдат? Дать новобранцам милитаблетки, и дело с концом. Офицерский корпус обучать тоже не стоит: для чего тогда стратегин, генералозол, тактидон, ордерол? «Проглоти, запей водицей – превзойдешь Клаузевица». Слышали?

– Нет.

– Потому что эти препараты секретные; во всяком случае, в продажу не поступают. Десанты высаживать тоже нет смысла: достаточно распылить над мятежной страной десантный маскон, и население воочию увидит парашютистов, морскую пехоту и танки. Реальный танк стоит почти миллион, а иллюзорный обходится в сотую долю цента на зрителя; это так называемая зрительская танкоединица. Броненосец обходится в четверть цента. Весь арсенал Соединенных Штатов уместился бы на грузовике. Танконы, кадавроны, бомбоны – твердые, жидкие, газообразные. Говорят, существуют целые нашествия марсиан – в виде обыкновенного порошка.

– И все это масконы?

– А как же! Так что реальная армия оказалась ненужной. Осталось чуть-чуть авиации, да и то не уверен. Зачем? Процесс шел лавинообразно, понимаете? Остановить его было нельзя. Вот и вся тайна разоружения. Впрочем, не только разоружения. Вы видели последние модели «кадиллака», «доджа» и «шевроле»?



– Видел: очень красивые.

Профессор подал мне флакончик.

– Пожалуйста, подойдите к окну и присмотритесь внимательнее к этим роскошным автомобилям.

Я перегнулся через подоконник. В глубоком ущелье улицы, вид на которую открывался с двенадцатого этажа, неслась река новеньких, с иголочки, автомашин, сверкающих на солнце стеклами и лаком крыш. Я поднес открытый флакончик к носу и зажмурился; когда я снова открыл глаза, то увидел удивительную картину. По мостовой, согнув руки в локтях, как дети, играющие в шоферов, колоннами галопировали бизнесмены. Они торопливо перебирали ногами, откинувшись назад, словно на мягкую спинку сиденья. Лишь изредка в их рядах появлялся одинокий автомобиль, окруженный облаком выхлопных газов. Когда действие препарата кончилось, картина покрылась рябью, сквозь которую там, внизу, я опять увидел

сверкающий поток, лакированные крыши, белые, изумрудные и желтые, величественно плывущие по Манхэттену.

– Кошмар! – ошеломленно произнес я. – Тем не менее *rax urbi et orbi*¹⁷ достигнут, так что все это, может быть, окупилось?

– Разумеется, тут есть и свои плюсы. Число инфарктов заметно снизилось, такие пробежки – прекрасная тренировка. Правда, стало больше больных эмфиземой легких, расширением вен и сердца. Не каждый рождается марафонцем.

– Так вот почему у вас нет машины! – догадался я.

Профессор лишь криво усмехнулся.

– Среднего класса машина стоит теперь каких-нибудь четыреста пятьдесят долларов, – сказал Троттельрайнер, – но, учитывая ее себестоимость (около одной восьмой цента), это, пожалуй, дороговато. Людей, которые производят хоть что-то реальное, все меньше и меньше. Композитор, получив гонорар, дает взятку заказчику, а публике, пришедшей в филармонию на премьеру, подсовывают под нос концертозольный мелотропин.

– Это, конечно, безнравственно, – заметил я, – но так ли уж вредно для общества?

– Пока еще – нет. Впрочем, смотря как оценивать. Благодаря трансмутину вы можете иметь роман с козой и быть в убеждении, что перед вами Венера Милосская; научные доклады и совещания вытесняются конгрессинами и деконгрессинами. Но есть некий жизненный минимум, которого иллюзией не заменишь. Нужно где-то взаправду жить, чем-то дышать и питаться, а реализ пожирает сферы реальной жизни одну за другой. Вдобавок угрожающе быстро растет число побочных явлений, а это вынуждает применять дегаллюцины, неосупермасконы, фиксаторы – с сомнительным результатом.

– Что это такое?

– Дегаллюцины – новые психимикаты, после которых кажется, что ничего не кажется. Сначала ими лечили душевнобольных, но теперь и здоровые люди все чаще начинают сомневаться в реальности окружающего. Амнестан бессилен против фантофантомов, то есть фантомов второго порядка. Понимаете? Ну если кто-нибудь воображает себе, что воображает себе, будто ничего себе не воображает – или наоборот. Этим в основном и занимается современная психиатрия – ее называют еще многоярусной, или n-этажной. Но хуже всего неомасконы. Видите ли, под влиянием чрезмерных доз психимикатов организм дает сбой. Выпадают волосы, роговеют уши, а

¹⁷ Мир градам и весям (лат.).

то вдруг хвост исчезает...

– Вы хотели сказать: вырастает.

– Да нет, исчезает – хвост есть у всех лет уже тридцать. Побочное следствие орфографина. Мгновенное обучение грамоте дается не даром.

– Не может быть: я бываю на пляже, ни у кого нет хвоста!

– Вы ребенок, ей-богу. Хвосты маскируются антихвостидом, из-за которого в свою очередь чернеют ногти и портятся зубы.

– И это опять-таки маскируется?

– Ну конечно! Масконы вводятся миллиграммами, но в общей сложности на человека приходится около ста девяноста килограммов в год; оно и понятно: нужно имитировать домашнюю утварь, еду и напитки, вежливость ребятишек, предупредительность служащих, научные открытия, полотна Рембрандта, перочинные ножки, заморские путешествия, космические полеты и еще миллион подобных вещей. Если бы не врачебная тайна, стало бы известно, что в Нью-Йорке у каждого второго – плоскостопие, пятнистая кожа, зеленоватая шерсть на спине, на ушах колючки, эмфизема легких и расширение сердца от безудержного галопирования. Все это приходится маскировать – вот почему нужны неосупермасконы.

– Какой ужас! И ничего нельзя сделать?

– Наш конгресс как раз должен обсуждать альтернативы бустории. В кругах экспертов только и разговору что о необходимости коренных перемен. Представлено уже восемнадцать проектов.

– Спасения?

– Если хотите – спасения. Присядьте вот здесь, пожалуйста, и пролижите эти материалы. Но я попрошу вас об одном одолжении. Дело весьма деликатное.

– Буду рад вам помочь.

– Я на это рассчитываю. Видите ли, я получил от знакомого химика пробные дозы двух только что синтезированных веществ из группы очуханов, то есть отрезвинов. Он прислал их утренней почтой и пишет, – Троттельрайнер взял письмо со стола, – что мой очухан – вы его пробовали – не настоящий. Вот, послушайте: «Федеральное управление псипреции (психопреформации) старается отвлечь внимание действидцев от целого ряда кризисных явлений и с этой целью умышленно поставляет им фальшивые противоиллюзионные средства, содержащие неомасконы».

– Я что-то не понимаю. Ведь я сам испытал действие вашего препарата. И что такое действидец?

– Это звание, и очень высокое; я тоже его удостоен. Действидение означает право и возможность пользоваться очуханами – чтобы знать, как все выглядит на самом

деле. Кто-то должен быть в курсе, не так ли?

– Пожалуй.

– А что касается того препарата, он, по мнению моего друга, устраняет влияние масконов старого образца, но против новейших бессилён. В таком случае вот это, – профессор поднял флакончик, – не отрезвин, а лжеотрезвин, закамуфлированный маскон, короче, волк в овечьей шкуре!

– Но зачем? Если нужно, чтобы кто-нибудь знал...

– «Нужно» вообще говоря, с точки зрения общества в целом, но не с точки зрения интересов различных политиков, корпораций и даже федеральных агентств. Если дела обстоят хуже, чем кажется нам, действующим, они предпочитают, чтобы мы не поднимали шума; вот для чего они подделали отрезвин. Так некогда устраивали в мебели ложные тайники – чтобы отвлечь грабителя от настоящих, запрятанных куда как искуснее!

– Ага, теперь понимаю. Чего же вы от меня хотите?

– Чтобы вы, когда будете знакомиться с этими материалами, вдохнули сначала из одной ампулы, а потом из другой. Мне, честно говоря, боязно.

– Только-то? С удовольствием.

Я взял у профессора обе ампулы, уселся в кресло и начал один за другим усваивать присланные на конгресс бусторические доклады. Первый из них предусматривал оздоровление общественных отношений путем введения в атмосферу тысячи тонн инверсина – препарата, который инвертирует все ощущения на 180 градусов. После этого комфорт, чистота, сытость, красивые вещи станут всем ненавистны, а давка, бедность, убожество и уродство – пределом желаний. Затем действие масконов и неомасконов полностью устраняется. Только теперь, столкнувшись с укрытой доселе реальностью, общество обретет полноту счастья, увидев воочию все, о чем мечтало. Может быть, поначалу даже придется запустить хужетроны – для снижения уровня жизни. Однако инверсин инвертирует все эмоции, не исключая эротических, что грозит человечеству вымиранием. Поэтому его действие раз в году будет временно, на одни сутки, приостанавливаться с помощью контрпрепарата. В этот день, несомненно, резко подскочит число самоубийств, что, однако, будет возмещено с лихвой через девять месяцев – за счет естественного прироста.

Этот план не привел меня в восхищение. Единственным его достоинством было то, что автор проекта, будучи действующим, окажется под постоянным воздействием контрпрепарата, а значит, всеобщая нищета, уродство, грязь и монотонность жизни наверняка не доставят ему особой радости. Второй проект предусматривал

растворение в речных и морских водах 10 000 тонн ретротемпорина – реверсора субъективного течения времени. После этого жизнь потекла бы вспять: люди будут приходить на свет стариками, а покидать его новорожденными. Тем самым, подчеркивалось в докладе, устраняется главный изъян человеческой природы – обреченность на старение и смерть. С годами каждый старец все больше молодеет бы, набирается сил и здоровья; уйдя с работы, по причине впадения в детство, он жил бы в волшебной стране младенчества. Гуманность этого плана естественным образом вытекала из присущего младенческим летам неведения о бренности жизни. Правда, вспять направлялось лишь субъективное течение времени, так что в детские сады, ясли и родильные клиники надлежало посылать стариков; в проекте не говорилось определенно об их дальнейшей судьбе, а только упоминалось о возможности терапии в «государственном эвтаназиуме». После этого предыдущий проект показался мне не столь уж плохим.

Третий проект, рассчитанный на долгие годы, был куда радикальнее. Он предусматривал эктогенезис, деташизм и всеобщую гомикрию. От человека оставался один только мозг в изящной упаковке из дюропласта, что-то вроде глобуса, снабженного клеммами, вилками и розетками. Обмен веществ предполагалось перевести на ядерный уровень, а принятие пищи, физиологически совершенно излишнее, свелось бы к чистой иллюзии, соответствующим образом программируемой. Головоглобус можно будет подключать к любым конечностям, аппаратам, машинам, транспортным средствам и т.д. Такая деташизация проходила бы в два этапа. На первом проводится план частичного деташизма: ненужные органы оставляются дома; скажем, собираясь в театр, вы снимаете и вешаете в шкаф подсистемы копуляции и дефекации. В следующей десятилетке намечалось путем гомикрии устранить всеобщую давку – печальное следствие перенаселения. Кабельные и беспроводные каналы межмозговой связи сделали бы излишними поездки и командировки на конференции и совещания и вообще какое-либо передвижение, ибо все без исключения граждане имели бы связь с датчиками по всей ойкумене, вплоть до самых отдаленных планет. Промышленность завалит рынок манипуляторами, педикуляторами, гастропуляторами, а также головороллерами (чем-то вроде рельсов домашней железной дороги, по которым головы смогут катиться сами, ради забавы).

Я прервал чтение – вернее, лизание – рефератов и заметил, что их авторы, должно быть, свихнулись. Суждение слишком поспешное, сухо возразил Троттельрайнер. Каша заварена – нужно ее расхлебывать. С точки зрения здравого смысла историю человечества не понять. Разве Кант, Аверроэс, Сократ, Ньютон, Вольтер поверили бы, что в двадцатом веке бичом городов, отравителем легких,

свирепым убийцей, объектом обожествления станет жестянка на четырех колесах, а люди предпочтут погибать в ней, каждую пятницу устремляясь лавиной за город, вместо того чтобы спокойно сидеть дома? Я спросил, какой из проектов он собирается поддержать.

– Пока не знаю, – ответил профессор. – Труднее всего, по-моему, решить проблему тайнят – подпольно рожденных детей. А кроме того, я побаиваюсь химинтриганства.

– То есть?

– Может пройти проект, который получит кредобилиновую поддержку.

– Думаете, вас обработают психимикатами?

– Почему бы и нет? Чего проще – взять и распылить аэрозоль через кондиционер конференц-зала.

– Что бы вы ни решили, общество может с этим не согласиться. Люди не все принимают безропотно.

– Дорогой мой, культура уже полвека не развивается стихийно. В двадцатом веке какой-нибудь там Диор диктовал моду в одежде, а теперь все области жизни развиваются под диктовку. Если конгресс проголосует за деташизм, через несколько лет будет неприлично иметь мягкое, волосатое, потливое тело. Тело приходится мыть, умащивать и прочее, и все-таки оно выходит из строя, тогда как при деташизме можно подключать к себе любые инженерные чудеса. Какая женщина не захочет иметь серебряные фонарики вместо глаз, телескопически выдвигающиеся груди, крылышки, словно у ангела, светоносные икры и пятки, мелодично звенящие на каждом шагу?

– Тогда знаете что? – сказал я. – Бежим! Запасемся едой, кислородом и уйдем в Скалистые горы. Каналы «Хилтона» помните? Разве плохо там было?

– Вы это серьезно? – как бы заколебавшись, переспросил профессор.

Я – видит Бог, машинально! – поднес к носу ампулу, которую все еще держал в руке. Я просто забыл о ней. От резкого запаха слезы выступили на глазах. Я начал чихать, а когда открыл глаза снова, комната совершенно преобразилась. Профессор еще говорил, я слышал его, но, ошеломленный увиденным, ни слова не понимал. Стены почернели от грязи; небо, перед тем голубое, стало иссиня-бурым, оконные стекла были по большей части выбиты, а уцелевшие покрывал толстый слой копоти, исчерченный серыми дождевыми полосками.

Не знаю почему, но особенно меня поразило то, что элегантная папка, в которой профессор принес материалы конгресса, превратилась в заплесневелый мешок. Я застыл, опасаясь поднять глаза на хозяина. Заглянул под письменный стол. Вместо брюк в полоску и профессорских штиблет там торчали два скрещенных протеза. Между

проволочными сухожилиями застрял щебень и уличный мусор. Стальной стержень пятки сверкал, отполированный ходьбой. Я застонал.

– Что, голова болит? Может, таблеточку? – дошел до моего сознания сочувственный голос. Я превозмог себя и взглянул на профессора.

Не много осталось у него от лица. На щеках, изъеденных язвами, – обрывки ветхого, гнилого бинта. Разумеется, он по-прежнему был в очках – одно стеклышко треснуло. На шее, из отверстия, оставшегося после трахеотомии, торчал небрежно воткнутый вокодер, он сотрясался в такт голосу. Пиджак висел старой тряпкой на стеллаже, заменявшем грудную клетку; помутневшая пластмассовая пластинка закрывала отверстие в левой его части – там колотился серо-фиолетовый комочек сердца в рубцах и швах.левой руки я не видел, правая – в ней он держал карандаш – оказалась латунным протезом, позеленевшим от времени. К лацкану пиджака был наспех приметан клочок полотна с надписью красной тушью: «[Мерзляк 119 859/21 транспл. – 5 брак.](#)». Глаза у меня полезли на лоб, а профессор – он вбирал в себя мой ужас, как зеркало, – осекся на полуслове.

– Что?.. Неужели я так изменился? А? – произнес он хрипло.

Не помню, как я вскочил, но уже рвал на себя дверную ручку.

– Тихий! Что вы? Куда же вы, Тихий! Тихий!!! – отчаянно кричал он, с трудом поднимаясь из-за стола. Дверь поддалась, и в этот момент раздался страшный грохот – профессор, потеряв равновесие от резких движений, рухнул и начал распадаться на части, хрустя, как костями, проволочными сочленениями. Этого я никогда не забуду: душераздирающий визг, ножные протезы, скребущие острыми пятками по паркету, серый мешочек сердца, колотящийся за исцарапанной пластмассой. Я несся по коридору, как будто за мной гнались фурии.

Кругом было полно людей – начиналось время ленча. Из контор выходили служащие; оживленно беседуя, они направлялись к лифтам. Я втиснулся в толпу у открытых дверей лифта, но его очень уж долго не было; заглянув в шахту, я понял, почему все тут страдают одышкой. Конец оборванного неизвестно когда каната болтался в воздухе, а пассажиры с обезьяньей ловкостью, видимо, приобретаемой годами, карабкались по сетке ограждения на плоскую крышу, где размещалось кафе, – карабкались как ни в чем не бывало, спокойно беседуя, хотя их лица заливал пот. Я подался назад и побежал вниз по ступенькам, огибавшим шахту с ее терпеливыми восходителями. Толпы служащих по-прежнему валили из всех дверей. Здесь были чуть ли не сплошь одни конторы. За выступом стены светлело открытое настезь окно; остановившись и сделав вид, будто привожу в порядок одежду, я посмотрел вниз. Мне показалось сначала, что на заполненных тротуарах нет ни одного живого существа, –

но я просто не узнал прохожих. Их прежний праздничный вид бесследно исчез. Они шли поодиночке и парами, в жалких обносках, нередко в бандажах, перевязанные бумажными бинтами, в одних рубашках; действительно, они были покрыты пятнами и заросли щетиной, особенно на спине. Некоторых, как видно, выпустили из больницы по каким-то срочным делам; безногие катились на досочках-самокатах посреди городского шума и гомона; я видел уши дам в слоновьих складках, ороговевшую кожу их кавалеров, старые газеты, пучки соломы, мешки, которые прохожие носили на себе с шиком и грацией; а те, что покрепче и поздоровее, во весь опор мчались по мостовой, время от времени нажимая на несуществующий акселератор. В толпе преобладали роботы – с распылителями, дозиметрами и опрыскивателями. Они следили, чтобы каждый прохожий получил свою порцию аэрозольной пыли, но этим не ограничивались. За влюбленной парой, шедшей под руку (ее спина была в роговой чешуе, его – в пятнистой сыпи), тяжело шагал робот-цифрак с распылителем, методично постукивая воронкой по их головам, а те – ничего, хотя зубы у них лязгали на каждом шагу. Нарочно он или как? Но размышлять уже не было сил. Вцепившись намертво в подоконник, смотрел я на улицу, на это кипение призрачной жизни – единственный зрячий свидетель. Но в самом ли деле единственный? Жестокость этого зрелища наводила на мысль об ином наблюдателе: его режиссере, верховном распорядителе блаженной агонии; тогда эти жанровые сцены получили бы смысл – чудовищный, но все-таки смысл. Маленький авточистильщик обуви, суется у ботинок какой-то старушки, то и дело подсекал ее под колени; старушка грохалась о тротуар, поднималась и шла дальше, он валил ее снова, и так они скрылись из виду, он – механически упрямый, она – энергичная и уверенная в себе. Часто роботы заглядывали прямо в зубы прохожим – должно быть, для проверки результатов опрыскивания, но выглядело это ужасно. На каждом углу торчали безработники и роботрясы, откуда-то сбоку, из фабричных ворот, после смены высыпали на улицу роботяги, кретинги, праробы, микроботы. По мостовой тащился огромный компостер, унося на острие своего лемеха что попадет; вместе с трупем он швырнул в мусорный бак старушку; я прикусил пальцы, забыв, что держу в них вторую, еще нетронутую ампулу – и сжег себе горло огнем. Все вокруг задрожало, заволклось светлой пеленой – бельмом, которое постепенно снимала с моих глаз невидимая рука. Окаменев, смотрел я на совершающуюся перемену, в ужасном спазме предчувствия, что теперь реальность сбросит с себя еще одну оболочку; как видно, ее маскировка началась так давно, что более сильное средство могло лишь сдернуть больше покровов, дойти до более глубоких слоев – и только. В окне посветлело, побелело. Снег покрывал тротуары – обледенелый, утопанный сотнями ног; зимним стал

колорит городского пейзажа; витрины магазинов исчезли, вместо стекол – подгнившие приколотенные крест-накрест доски. Между стенами, исполосованными подтеками грязи, царила зима; с притолок, с лампочек бахромой свисали сосульки; в морозном воздухе стоял чад, горький и синеватый, как небо наверху; в грязные сугробы вдоль стен вмерз свалывшийся мусор, кое-где чернели длинные тюки или, скорее, кучи тряпья, бесконечный людской поток подталкивал их, сдвигал в сторону, туда, где стояли проржавевшие мусорные контейнеры, валялись консервные банки и смерзшиеся опилки; снега не было, но чувствовалось, что недавно он шел и пойдет снова; я вдруг понял, кто исчез с улиц: роботы. Исчезли все до единого!





Их засыпанные снегом остовы были разбросаны на тротуарах – застывший железный хлам рядом с лохмотьями, из которых торчали пожелтевшие кости. Какой-то оборванец усаживался в сугроб, устраиваясь, как в пуховой постели; лицо его выражало довольство, словно он был у себя дома, в тепле и уюте; он вытянул ноги, рылся босыми стопами в снегу – так вот что значил тот странный озноб, та прохлада, которая время от времени приходила откуда-то издалека, даже если вы шли серединой улицы в солнечный полдень (он уже приготовился к долгому-долгому сну), так вот оно значит

что. Вокруг него как ни в чем не бывало копошился людской муравейник, одни прохожие опыляли других, и по их поведению было легко догадаться, кто считает себя человеком, а кто – роботом. Выходит, и роботы были обманом? И откуда эта зима в разгар лета? Или фата-морганой был весь календарь? Но зачем? Ледяной сон как демографическое противоядие? Значит, кто-то все это продумал до мелочей, а мне придется исчезнуть, до него не добравшись? Мой взгляд упирался теперь в небоскребы, в их склизкие стены с провалами выбитых окон; позади стало тихо: ленч кончился. Улица – это конец, зрячие глаза мне ничуть не помогут, толпа захлестнет и поглотит меня, нужно найти хоть кого-нибудь, сам я смогу разве что прятаться какое-то время, как крыса; я теперь вне иллюзии, а значит, в пустыне. Охваченный ужасом и отчаянием, отпрянул я от окна; я дрожал всем телом – ведь призрак теплой погоды не согревал меня больше. Я и сам не знал, куда направляюсь, но старался ступать бесшумно; да, я уже скрывал свое присутствие здесь, сутулился, съеживался, озирался по сторонам, останавливался, прислушивался – бессознательно, еще не успев принять никакого решения и в то же время ощущая всей кожей: по мне видно, что я все это вижу, и это не сойдет безнаказанно. Я шел по коридору шестого или пятого этажа; вернуться назад, к Троттельрайнеру, я не мог: ему требовалась помощь, а я был не в силах помочь; я лихорадочно думал сразу о многом, но прежде всего о том, не кончится ли действие отрезвина и не окажусь ли я снова в Аркадии. Странное дело: при мысли об этом я не чувствовал ничего, кроме страха и отвращения, словно мне было бы легче замерзнуть в мусорной куче, сознавая, что я наяву, чем обрести утешенье в иллюзии. Я не смог свернуть в боковой коридор: дорогу загоразивал своим телом какой-то старик; ему не хватало сил идти, он только судорожно дрыгал ногами, изображая ходьбу, и дружелюбно улыбался мне, тихонько похрипывая. Я ринулся в другой боковой коридор – тупик, матовые стекла какой-то конторы, за ними – полная тишина. Я вошел, завибрировала стеклянная дверь-вертушка, это было машинописное бюро – пустое. В глубине – еще одна приоткрытая дверь, а за ней – большая светлая комната. Я отпрянул – там кто-то сидел, – но услышал знакомый голос:

– Прошу вас, Тихий.

Пришлось войти. Меня даже не особенно удивили эти слова – как будто моего прихода здесь ждали; спокойно я принял и то, что за рабочим столом восседал собственной персоной Джордж Симингтон. Костюм из серой фланели, ворсистый шейный платок, темные очки, сигара во рту. Он смотрел на меня то ли со снисхождением, то ли с жалостью.

– Садитесь, – сказал Симингтон. – Поговорим.

Я сел. Комната с совершенно целыми окнами казалась оазисом чистоты и тепла

посреди всеобщего запустения – ни пронизывающих сквозняков, ни снега, наметенного ветром. Поднос, черный дымящийся кофе, пепельница, диктофон; над головой хозяина – цветные фотографии обнаженных женщин. Меня поразила бестолковая, в сущности, мысль: лишаев на них не было вовсе.

– Вот вы и доигрались, – назидательно произнес Симингтон. – А ведь жаловаться вам не на кого! Лучшая медсестра, единственный на весь штат действительный – все вам старались помочь, а вы? Вы решили докопаться до «истины» на свой страх и риск!

– Я? – отозвался я ошеломленно; но он, не дав мне времени собраться с мыслями, обрушился на меня:

– Только, ради бога, не лгите. Теперь уже поздно. Вам-то, конечно, мерещилось, будто вы ужас до чего хитроумны со своими жалобами и подозрениями насчет «галлюцинаций»! «Канал», «подвальные крысы», «седлать», «запрягать»... И такими убогими штучками вы хотели нас обмануть! Вы думали, они вам помогут? Только мерзлянтроп может быть таким простаком!

Я слушал, приоткрыв от удивления рот. Оправдываться бесполезно: он все равно не поверит, это я понял сразу. Мои навязчивые идеи он счел коварной уловкой! Но тогда и его беседа со мной о тайнах «Прокрустикс инк.» преследовала одну только цель – развязать мне язык; вот для чего он вставлял в разговор слова, которые так меня поразили; быть может, он считал их каким-то секретным паролем – но чего, антихимического заговора? Мои сугубо личные подозрения показались ему отвлекающим маневром... Действительно, не стоило объяснять ему это, особенно теперь, когда карты были открыты.

– Так вы меня ждали? – спросил я.

– А как же! Все это время вы, со всеми вашими хитростями, были у нас на привязи. Мы не можем позволить, чтобы безответственный бунт нарушил господствующий порядок.

Старик, умирающий в коридоре, – мелькнула мысль. Он тоже был частью барьеров, которые меня сюда направляли...

– Хорош порядок, – заметил я. – А во главе – уж не вы ли? Поздравляю.

– Приберегите свои остроты для более подходящего случая! – огрызнулся Симингтон. Значит, мне удалось-таки задеть его за живое. Он разозлился. – Вы всё искали «источники демонизма», мерзляничек вы этакий, ледышка моя допотопная... Так вот – их нет. Ваша любознательность удовлетворена? Их просто-напросто нет, понимаете? Мы даем наркоз цивилизации, иначе она сама себе опротивела бы. Поэтому-то будить ее запрещено. Поэтому и вы вернетесь в ее лоно. Бояться вам нечего, это не только безболезненно, но и приятно. Нам куда тяжелее, мы ведь

обязаны трезво смотреть на вещи – ради вас же.

– Так вы это из альтруизма? Ну да, понятно, жертва во имя общего блага.

– Если вы и впрямь так цените ужасную свободу мысли, – заметил он сухо, – советую оставить глупые колкости, иначе вы добьетесь того, что вмиг ее потеряете.

– А вы хотите мне еще что-то сказать? Я слушаю.

– В настоящий момент, кроме вас, я единственный человек в целом штате, который видит! Что у меня на глазах? – добавил он быстро, испытующе.

– Темные очки.

– Значит, мы видим одно и то же! – воскликнул Симингтон. – Химик, давший Троттельрайнеру отрезвин, возвращен к нормальной жизни и более ни в чем не сомневается. Сомневаться не позволено никому, неужели не ясно?

– Позвольте, – прервал я его. – Похоже, вы и в самом деле стараетесь меня убедить. Странно. Собственно говоря, зачем?

– Затем, что действидцы – не демоны! Обстоятельства нас вынуждают. Мы загнаны в угол, играем картами, которые раздал нам жребий истории. Мы последним доступным нам способом даем утешение, покой, облегчение, с трудом удерживаем в равновесии то, что без нас рухнуло бы в пропасть всеобщей агонии. Мы последние атланты этого мира. Если миру суждено погибнуть, пусть хоть не мучается. Если нельзя изменить реальность, нужно хоть заслонить ее чем-то. Это наш последний гуманный, человеческий долг.

– Неужели совсем ничего нельзя изменить?

– Сейчас две тысячи девяносто восьмой год, – сказал Симингтон. – Шестьдесят девять миллиардов людей живут на Земле легально и еще, надо думать, двадцать шесть миллиардов тайных уроженцев. Температура падает на четыре градуса в год; очень скоро здесь будет ледник. Остановить обледенение мы не в силах – разве что замаскировать.

– Мне всегда казалось, что в пекле будет адская стужа. А вы украшаете вход в него миленькими узорами?

– Именно так. Мы – последние добрые самаритяне. Все равно кому-то пришлось бы, сидя на этом вот месте, разговаривать с вами; случайно это оказался я.

– Да, да припоминаю: *esse homo*¹⁸. Но... погодите... сейчас... Я понял, чего вам надо! Вы хотите убедить меня, что без вас, эсхатологического анестезиолога, не обойтись. Раз нет хлеба – наркоз страждущим. Не понимаю только, к чему вам мое обращение в вашу веру, если мне все равно придется тут же о нем позабыть? Если

¹⁸ Се – человек (лат.).



средства, которые вы применяете, так хороши, к чему заботиться о доказательствах? Достаточно пары капель кредобилина, и я с восторгом буду ловить каждое ваше слово, буду чтить вас и слушаться. Похоже, вы и сами не очень-то убеждены в достоинствах такого лечения, если вам по душе обычная старомодная болтовня, если вам приятнее беседовать, чем орудовать распылителем! Вы, как видно, прекрасно знаете: психимическая победа – всего лишь жульничество, на поле боя вы останетесь в одиночестве – триумфатор с изжогой. Убедить, а после столкнуть в беспамятство – вот чего вы хотите. Не выйдет! Раньше ты повесишься на своей благородной миссии вместе с теми вон девками, что скрашивают тебе труды по спасению. А все-таки настоящих хочется, без щетины?

Его лицо исказила гримаса ярости. Вскочив со стула, он заревел:

– У меня найдутся не только аркадийские средства! Есть и химический ад!

Встал и я. Он потянулся было к пресс-папье, но я с криком «Отправимся туда вместе!» бросился на него. По инерции, как я и рассчитывал, мы покатались к открытому окну. Послышался чей-то топот, чьи-то сильные пальцы пытались оторвать меня от него, он извивался, пинал меня, но в последний момент я повалил его на подоконник, собрал все силы и прыгнул; в ушах засвистело, мы кувыркались, вцепившись друг в друга; вращаясь, воронка улицы стремительно надвигалась на нас, я приготовился к сокрушительному удару, однако падение оказалось мягким, брызнула черная жижка, зловонная, благословеннейшая трясина сомкнулась над моей головой – и опять расступилась. Я вынырнул посередине канала, отирая рукой глаза, с резким привкусом помоев во рту, но счастливый, как никогда! Профессор Троттельрайнер, разбуженный моими воплями, склонялся над топью и подавал мне, как братскую руку, ручку сложенного зонта. Отзвуки *бумбардировки* стихали. Дирекция «Хилтона» спала

вповалку на надувных креслах (вот откуда взялись «надуванки!»), секретарши вели себя во сне вызывающе. Джим Стэнтор, храпя и ворочаясь с боку на бок, придушил крысу, которая выцарапывала шоколад у него из кармана; перепугались и он, и она. Присев у стены на коленях, Дрингенбаум, этот педантичный швейцарец, при бледном свете фонарика правил свой реферат. Занятие, в которое углубился профессор, возвещало начало второго дня футурологического конгресса; при этой мысли я разразился таким хохотом, что рукопись выпала у него из рук, плюхнулась в черную воду и поплыла – в неизведанное грядущее.

Ноябрь 1970 г.

